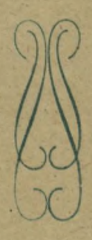
М. Каратеев

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ НА БАЛКАНАХ



БУЭНОС АЙРЕС
1977


Fortir in re · Suviter in modo
Из собрания
О. Г. Черторижского-
Гончаренко
Шкаф№ 03 Полка№ 04

M. KARATEEFF

La Guardia Blanca en los Balcanes

Recuerdos de un oficial del Ejército Ruso Blanco

BUENOS AIRES

1977

EDICION

Talleres Gráficos DORREGO

Avenida Dorrego 1102, Buenos Aires, Argentina

М. КАРАТЕЕВ

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ НА БАЛКАНАХ

Воспоминания белого офицера.

В этой книге нет никаких преувеличений, она, если можно так выразиться, почти фотографична. Особо рекомендую ее вниманию «третьей эмиграции».

М. Каратеев (князь Кара́чевский).

БУЭНОС АЙРЕС

— 1977 —

ИЗДАНИЕ АВТОРА.

Адрес автора:
Dr. M. Karatchewsky-Karateeff
(Михаил Дмитриевич)
Balneario Las Toscas. Dto. Canelones
R. O. del Uruguay

ОТ АВТОРА

О русской Белой армии и о судьбе ее отдельных подразделений за рубежом родной земли, написано немало книг журнальных очерков и статей. Почти все главные воинские объединения составили и опубликовали подробную историю своих частей. Многие высшие начальники и боевые командиры издали свои личные, исторически очень ценные воспоминания. Не забыта была и Белая молодежь, — те мальчики кадеты и гимназисты, которые приняли участие в вооруженной борьбе и разделили судьбу своих старших соратников в изгнании. Бывшие питомцы трех зарубежных кадетских корпусов собрали богатый материал и издали объемистый сборник, посвященный истории этих военно-учебных заведений.

Таким образом, грядущий историк русского зарубежья будет раполагать весьма многочисленными подсобными материалами. Перед ним развернется обширная панорама исторически важных, значительных событий, ярко освещенная "сверху". Но "снизу" освещение будет чрезвычайно скудным, и о повседневной жизни и мытарствах мелкой военной сошки такой историк получит очень слабое представление, ибо, в противоположность генералам (которым было о чем сказать) эта сошка своих воспоминаний не писала, полагая что они никакого общественного или исторического значения не имеют.

Являясь представителем такой самой мелкой сошки (выехал из России в "кадетском" чине), я все же

этого взгляда не разделяю и считаю, что для правильного суждения о картине, она должна быть освещена равномерно, а не только сверху. Думаю, что настоящая книга этому в какой-то мере поспособствует, — она повествует о первых годах заграничной жизни русской военной молодежи. То немногое, что о "Белых мальчиках" писалось и пишется, обычно грешит героическим пафосом или слезливостью. Это не только искажает, но и обедняет картину: ничем не прикрашенная правда тут сама по себе настолько богата содержанием и красноречива, что нет никакой надобности ставить этих "мальчиков" на ходули.

Нам подчас приходилось трудно, даже очень трудно, но все же наша жизнь не была трагедией: там, где крепка товарищеская спайка, довлеют здоровые традиции и не утрачено чувство юмора, — трагические обстоятельства не воспринимаются как таковые, и в сознании участника принимают иную окраску, нередко даже комическую. Хочу надеяться, что моя книга покажет это читателю с достаточной убедительностью.

Приношу мою глубокую благодарность Ивану Сергеевичу Миронову, оказавшему большую помощь в издании этой книги.

Уругвай, 1977 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРЫМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

1. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КРЫМУ

В годы гражданской войны почти все кадеты южнорусских кадетских корпусов, в возрасте от четырнадцати лет и выше, пошли добровольцами в Белую армию. Ни у корпусного начальства, ни у родителей разрешения никто не спрашивал, — это было время всеобщей разрухи и крушения нормальных устоев, — но при записи в воинские части все младшие, конечно, врали, что им исполнилось шестнадцать лет. Командиры полков и батарей верили на слово, или делали вид, что верили, принимали кадет охотно и даже до некоторой степени щеголяли друг перед другом количеством такого рода подчиненных, считавшихся особенно надежными. Но в августе 1920 года из Грузии привезли в Ялту уцелевшие кадры Полтавского и Владикавказского кадетских корпусов,*) вслед за чем, по приказу генерала Врангеля, всех находившихся на фронте кадет начали откомандировывать из воинских частей, для окончания курса наук в этом сводном корпусе.

Мне в это время было около семнадцати лет и я уже имел солидный боевой стаж. В начале 1920 года, после эвакуации кавказского побережья, волею случая попал из армии во флот и теперь, едва возвратившись из крайне неудачного для нас дессанта на Таманский

---

[1]) Полтавский кадетский корпус в конце 1919 года был эвакуирован во Владикавказ и слит с Владикавказским корпусом. Летом следующего года, этот сводный корпус, походным порядком, по Военно-Грузинской дороге пришел в Батум, а оттуда был перевезен в Ялту.

полуостров, получил предписание немедленно отправляться в Ялту.

То, что после трех лет революционной бури и гражданской войны сохранилось от моего, Петровского-Полтавского кадетского корпуса, я нашел в Орианде, в казарме Крымского конного полка. Там было человек двадцать воспитателей и преподавателей, да несколько десятков кадет младших классов. Примерно столько же насчитывалось владикавказцев. Старшеклассников было еще очень мало, к моменту моего приезда из кадет первой роты[2]) собралось не более двадцати человек.

Жизнь едва налаживалась, кормили впроголодь, — преимущественно камсой и "шрапнелью",[3]) спали мы на деревянных топчанах, укрываясь собственными шинелями. Учебных занятий еще не было. Малышей, чтобы поменьше хулиганили, воспитатели старались занять какими-то чтениями и повторениями, а нас, старших, ввиду нашей малочисленности, предоставили самим себе. Вообще в отношении кадет-фронтовиков в корпусе наблюдалась некая неуверенность. Мы приезжали с оружием (винтовки сдавали в цейхгауз, а револьверы и шашки оставляли), многие с Георгиевскими крестами и с не вполне залеченными ранами; вид и повадки у всех были независимые и начальство явно затруднялось в обращении с нами и в выборе методов приведения нас в нормально-кадетское состояние.

И мы, пользуясь этим, что называется, прожигали жизнь с двух концов: днем до одури резались в преферанс и в подкидного дурака, а вечером, наведя красоту, отправлялись в сказочно прекрасный ориандский парк или в Ливадию, ухаживать за местными барышнями. Впрочем, я нашел время и для того, чтобы нагнать пропущенное в области учебных занятий и благополучно сдать экзамены в седьмой класс.

С фронта, между тем, ежедневно прибывали каде-

---

2) Первая или строевая рота в кадетских корпусах включала кадет двух старших классов, — шестого и седьмого.

3) Камса — мелкая черноморская рыбешка. Шрапнелью мы называли перловую крупу.

ты всевозможных корпусов и когда их собралось несколько сот человек, нас перевели из Орианды в Массандру, где нашлось более обширное и удобное помещение. К этому времени наш Сводный корпус, приказом генерала Врангеля был переименован в Крымский, с установлением нового, общего для всех погона. Директором этого корпуса был назначен генерал-лейтенант В. В. Римский-Корсаков, в просторечьи "Дед", прежде бывший директором первого Московского.

Едва мы немного обжились в Массандре и собирались приступить к классным занятиям, пришла грозная весть о падении Перекопа и почти сейчас же — приказ спешно готовиться к эвакуации. Первую роту вооружили винтовками и предоставили в распоряжение ялтинского коменданта, для несения караульной службы в городе и для борьбы с начавшимися грабежами. Младшие кадеты помогали паковать корпусное имущество и перевозить его в порт.

По-началу всё шло благополучно, в соответствии с общим планом эвакуации. Корпусу отвели для погрузки пришедший в Ялту транспорт "Сарыч", на него уже успели погрузить часть имущества и младших кадет, когда в город пришли отступающие части конницы генерала Барбовича и "Сарыч" был передан им. Нас сгрузили и корпус оказался в неопределенном, если не сказать критическом положении. В порту в это время находился еще один транспорт, уже до отказу набитый людьми и вскоре ушедший, да пассажирский пароход "Константин", на который тоже грузилась конница Барбовича, вперемежку с ялтинской "знатью". Никаких иных транспортных средств не предвиделось, и не на шутку встревоженный "Дед" Римский-Корсаков отправился к заведующему эвакуацией генералу Драценко, чтобы выяснить судьбу корпуса. Для внушительности он взял с собою адъютанта и двух старших кадет, Георгиевских кавалеров, вооруженных винтовками. Я был одним из них и присутствовал при этом драматическом разговоре.

— К сожалению, ничего не могу сделать, ваше превосходительство, — заявил генерал Драценко. — Эва-

куируются десятки, если не сотни тысяч людей и транспортов для всех не хватает. В моем распоряжении больше ничего нет.

— Но ведь эвакуация кадетского корпуса была предусмотрена. Мы получили приказ к ней готовиться и транспорт нам был не только обещан, но и прислан.

— Я это знаю. Но неожиданно в Ялту отступили воинские части, которые по плану эвакуации должны были грузиться в других портах. И согласно распоряжению штаба Главнокомандующего, я обязан обеспечить их транспортными средствами в первую очередь.

— Но не оставлять же здесь кадет! Вы не хуже меня знаете, какая участь их ожидает в этом случае. Прошу вас немедленно позвонить в штаб генерала Врангеля и добиться того, чтобы нам предоставили возможность эвакуироваться.

— Я уже звонил и докладывал обстановку. Ответили, что свободных транспортов нет, но обещали, что если где-нибудь окажется недогруженный пароход или военный корабль, его в последний момент направят в Ялту. Будем надеяться на это.

— Мне нужна не надежда, а уверенность в том, что кадеты не будут брошены. Я за них отвечаю не только перед родителями, но и перед Россией, ибо никто не защищал ее с большей жертвенностью, чем они.

— Я вас понимаю и сочувствую вам, генерал. Но изменить существующее положение не в моей власти.

— Однако городскую публику, которая, оставаясь здесь, рискует гораздо меньше, вы грузите и для нее место нашли. А несколько сот таких вот мальчиков, — сказал багровый от возмущения Дед, указывая на нас рукой, — готовы оставить на расстрел! и это после того, как в самые трудные годы они не жалели для Родины ни крови, ни жизней. Сколько ты получил ранений, Каратеев?

— Три, ваше превосходительство!

— А ты, Вержбицкий?

— Двенадцать, ваше превосходительство![4])

---

[4]) Кадет Вячеслав Вержбицкий, в 1918 году тяжело раненный

— Вот видите, генерал! И таких у меня больше половины, а остальные, по возрасту своему, еще не в состоянии поднять винтовку. Что же, оставлять их всех на расправу красным?

— Ах, Боже мой! — схватился за голову Драценко. — Что же я могу сделать! Есть у меня, правда, одна баржа, но я не рисковал её вам предложить, ибо она так ненадежна, что никто не захотел на неё грузиться. Если будет буря, наверняка потонет. Словом, посудина дрянь, а команда и того хуже. Но если хотите...

— Можно её посмотреть?

— Пожалуйста. Мой адъютант вас проводит.

"Посудина" оказалась большой плоскодонной баржей "Хриси", которая принадлежала какому-то греку и обычно совершала рейсы в пределах Черного моря, промышляя главным образом контрабандой. Она была снабжена машиной, позволявшей развивать скорость до пяти узлов в час и общий ее вид не внушал никакого доверия. С первого, даже неопытного взгляда было ясно, что в период осенних штормов пересекать на ней море весьма рискованно, особенно при той осадке, которую она получит, когда на неё погрузится несколько сот человек, со всем корпусным имуществом. Но отказавшись от нее мы обрекли бы себя на еще больший риск и потому Дед раздумывал недолго. Баржа была одобрена, к великому неудовольствию её капитана, который пустил в ход всё свое красноречие, чтобы отговорить нас от безумной, по его мнению, затеи. Его поддержала и команда, — человек восемь всякого причерноморского сброда, глядевшего волками. Но всё это не возымело на нас никакого действия. Баржа была подана к молу и мы начали на нее грузиться.

осколками снаряда в обе ноги, упал на улице города, в который уже ворвались красные. Мимоходом они его добивали, — он получил три пули в голову, два сабельных удара и четыре раза был проткнут штыком. Нашей контратакой город был отбит, Вержбицкий чудом выжил и после бесчисленных операций и трепанаций черепа, пролежав больше года в госпитале, снова возвратился в армию и служил на бронепоезде.

К вечеру тринадцатого ноября[5]) погрузка была закончена. На "Хриси", до предела заполнив ее палубу и трюмы, поместились всё имущество корпуса, большая часть его персонала и три старшие роты кадет. Четвертую удалось пристроить на "Константин", где малыши не подвергались опасностям столь рискованного плаванья, в какое пускались мы. Загруженная сверх всякой нормы баржа осела так, что перегнувшись через фальшборт можно было достать рукой до поверхности моря. Вдобавок было свежо, ветер крепчал, и когда настала пора сниматься с якоря, капитан заявил, что в такую погоду и с такой нагрузкой он отказывается выйти в море. На окраинах города в это время уже шла довольно интенсивная стрельба, — выбора у нас не было и понимая, что капитан в сущности прав, мы всё же заставили его переменить решение. Он пробурчал, что подчиняется силе, за дальнейшее снимая с себя всякую ответственность.

Но время шло, а "Хриси" не двигалась с места. Наконец кто-то пошел выяснять — в чем дело и оказалось, что машина в неисправности. Возле неё хмуро копошились два механика, сказавшие, что погнулся какой-то вал и раньше чем на следующий день они не надеются его исправить. Было совершенно очевидно, что в действительности они надеются на другое: что ночью в Ялту войдут красные. Мы дали им полчаса на починку машины, предупредив, что в случае неудачи, по истечении этого срока один из механиков, по жребию, будет расстрелян.

Четверть часа спустя машина уже работала как новая и отшвартовавшись мы вышли в море. Во избежание дальнейших поломок, в машинное отделение были посажены два кадета с револьверами в руках и с приказанием не спускать глаз с механиков.

---

5) По новому стилю.

2. ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ

Небо было покрыто густыми тучами, ветер не уменьшался, но к счастью и не крепчал. Баржу качало, четырехузловым ходом она медленно двигалась вперед, неуклюже вгрызаясь в темное и мрачное море. Теоретически возможного пятого узла, несмотря на всё усердие наших "погонял", механикам так и не удалось выжать из машины. Было уже близко к полуночи, когда последние огоньки русского берега погасила даль, для большинства из нас навсегда. Но тогда о такой возможности никто не думал, — мы были уверены, что покидаем Родину ненадолго и среди кадет особого уныния не наблюдалось.

В битком набитых трюмах непривычные к качке люди вели себя весьма неаккуратно, обильно удобряя друг друга, ибо выбраться на верхнюю палубу было не так просто. Я предпочёл остаться наверху и отыскав себе местечко под перевернутой шлюпкой, забрался туда и уже собирался соснуть, когда меня неожиданно вызвали к директору.

— Ты, кажется, старый морской волк? — пошутил Дед, когда я предстал перед ним. — Служил во флоте?

— Так точно, ваше превосходительство. Последние семь месяцев я прослужил сигнальщиком на эскадренном миноносце "Беспокойный".

— А в рулевом деле и в компасе ты что-нибудь смыслишь?

— С компáсом знаком хорошо, а с рулевым делом только теоретически. Между делами и походами, я окончил в Севастополе военную школу рулевых и сигнальщиков, курс у нас был почти общий.

— Вот и отлично, — обрадовался Дед. — Пойди-ка на мостик и посмотри куда нас везут. Сможешь сообразить, если поглядишь на компас?

— Смогу, ваше превосходительство. Только сначала надо взглянуть на карту.

Карту мне нашли и прикинув по ней приблизительно румб на Константинополь, я поднялся на мостик. Тут тоже было много спавших или глазевших по сторонам кадет, а потому стоявший на руле грек не обратил на меня никакого внимания, когда я, с видом любопытствующего профана, приблизился и взглянул через его плечо на картушку компаса. Всё обстояло благополучно, мы шли правильным курсом. Я доложил об этом директору.

— Ну, слава Богу, — промолвил он. — Но всё же надо поглядывать, команда тут очень подозрительная, не завезли бы к большевикам. Есть ли у нас еще кто-нибудь из моряков?

— Кадет Перекрестов служил на крейсере "Генерал Корнилов". Правда, он был там комендором (артиллеристом), но о морском компасе представление имеет, это я знаю из разговоров с ним.

— Прекрасно, возьми его в помощь и наблюдайте по-очереди, чтобы, когда один спит, другой посматривал.

С трудом отыскав в человеческой каше Перекрестова, я сговорился с ним о часах дежурства, отправил его на мостик, а сам завалился спать, наказав немедленно разбудить меня, если рулевой переменит курс.

Было еще далеко до рассвета, когда меня не особенно деликатно растолкал взволнованный Перекрестов.

— Мишка! Кажись дело неладно. А ну-ка пойди погляди на компас!

Я поднялся на мостик и с первого взгляда на картушку увидел, что дело действительно неладно: мы шли курсом на Одессу.

Грека рулевого мы сгоряча хотели выбросить за борт, но он цеплялся за поручни и так орал, что на шум начал сбегаться народ. Пришел и Дед. Узнав в чем дело,

он приказал арестовать рулевого, который, призывая Бога в свидетели, клялся, что такой курс дал ему капитан. Затем последовало бурное объяснение с капитаном, — этот уверял, что грек по незнанию языка, не понял его указаний. Было совершенно очевидно, что это ложь, ибо рулевой по-русски лопотал довольно бойко, а потому для вразумления ткнув капитана в брюхо дулом револьвера, ему порекомендовали сидеть в своей каюте, а возле нее поставили часового с винтовкой, приказав ему ни на шаг не отставать от капитана, если он куда-нибудь выйдет.

Управление судном после этого перешло в наши руки. Я стал за штурвал и, как умел, выправил курс. Попасть прямо в Босфор я не очень надеялся, но рассчитывал на то, что увидев турецкий берег, пойму в какую сторону мы уклонились. В крайнем случае можно было так или иначе получить нужные сведенья от арестованного капитана, но мое морское самолюбие решительно отвергало этот выход.

Заметив, что одна сторона мостика совершенно обуглена, чего раньше не было, я спросил что тут произошло. Оказывается, пока я спал, под мостиком на палубе вспыхнул пожар, который общими силами потушили, выбросив за борт все горевшие вещи, а также большую железную бочку с бензином, которая была привязана к борту, в сфере пожара. Что находится в этой бочке, никто не знал и потому на нее вначале не обратили внимания. Вокруг уже всё горело, когда один из матросов издали крикнул, что в ней бензин. Несколько кадет, с риском для жизни, бросились туда и во-время успели ее отвязать и столкнуть в море. Кадет моего класса Салосьев и двое других получили при этом серьезные ожоги.

На следующий день по виду всё шло благополучно. Ветер немного стих, машина работала без перебоев, никто из команды не высовывал из кубрика носа, капитан тоже ни разу не вышел из своей каюты, а мы с Перекрестовым по-очереди стояли на руле. Вечером тучи рассеялись и на небе показались звезды. Вспомнив, что По-

лярная звезда испокон веков служила надежным ориентиром для всех моряков, я взглянул на нее, потом на компас, и обмер: стрелка указывала на несколько градусов левее. В том, что никакой злоумышленник не мог сдвинуть Полярную звезду с ее законного места и она продолжает указывать направление на север, я был совершенно уверен. Оставалось заключить, что наш компас безбожно врал.

К счастью моих познаний хватило на то, чтобы сделать правильное предположение относительно причины этого. Мостик был завален какими-то тюками и мешками, которые мы сейчас же принялись исследовать и в одном из них обнаружили полный набор железных гирь, начиная с двухпудовика. Оказывается помощник корпусного эконома, — полтавский хохол, совершенно несведущий в морских премудростях, но чрезвычайно бережно относившийся к вверенному ему имуществу, — заботливо эвакуировал кухонные весы, и брезентовый мешок с гирями пристроил "в куток", возле самого компаса. Едва мы его убрали, стрелка последнего стремительно рванулась вправо, наглядно подтвердив, что Полярная звезда и сегодня находится там, где Богом ей положено быть.

Но где теперь находится наша "Хриси", более суток шедшая никому неведомым курсом, тоже было известно одному Богу. Секстанта у нас не было, да и с его помощью я едва ли сумел бы определить точное местоположение судна. Но заметив угол отклонения от правильного курса и приблизительно зная пройденное от Ялты расстояние, я все же сообразил где мы, примерно, находимся. Правда, ошибка могла быть велика, ибо я посчитал, что мы все время шли четырехузловым ходом, тогда как скорость вероятно менялась. Кроме того, было неизвестно — сколько времени мы шли курсом на Одессу и где именно легли на прежний курс. Попав в такое положение теперь, я бы вероятно пал духом. Но юности присущи оптимизм и беспечность, к тому же пессимизм в данном случае мог бы только ухудшить дело, и потому я бодро взялся за штурвал, а встревоженному этим происшествием Деду сказал, что для беспокойства нет ни-

каких оснований, и что если мы не потонем в пути, до Константинополя доберемся непременно.

На третий день выяснилось, что в цистернах нашей "Хриси" почти не осталось пресной воды и на нее был установлен строжайший рацион. От подлинных мук жажды нас спасло только случайное обстоятельство: выследив одного из матросов, удалось обнаружить еще одну цистерну с водой, существование которой команда от нас тщательно скрывала.

Очень неважно обстояло дело и с нашим питанием. Горячей пищи мы, конечно, не получали, приготовить ее было негде и не из чего. Последние дни в Ялте никаких продуктов нельзя было достать, да на их поиски не оставалось и времени, — взяли мы с собой лишь те небольшие запасы муки и консервов, которые к моменту эвакуации находились в корпусных кладовых, и то количество хлеба, которое упели выпечь. Если бы мы выехали, как предполагалось, на "Сарыче", который шел до Константинополя два дня, этих запасов нам бы вполне хватило, но для затяжного путешествия на "Хриси" их оказалось далеко недостаточно.

Первые два дня мы питались хлебом и мясными консервами, которых выдавали по фунтовой банке в день на человека. На третий день хлеб кончился, консервы тоже были на исходе. Оставалась еще мука, из которой наша корпусная стряпуха, тётка Харитина, как-то умудрялась выпекать лепешки. Однако, на маленькой жаровне, пользуясь щепками от разбитых ящиков в качестве топлива, наготовить их на несколько сот едоков было чрезвычайно трудно и последние два дня наше бренное существование поддерживалось одной такой лепешкой в день на каждого, да банкой консервов на четырех человек. Голодные как волки кадеты, в поисках чего-нибудь съедобного, занялись исследованьем каких-то "посторонних" ящиков, лежавших в трюме, — почти во всех оказалось мыло, но в двух или трех были обнаружены жестяные банки со спиртом, который к искреннему, но бессильному негодованию начальства, с избытком возместил нам недостающие калории.

На пятые сутки пути мы увидели впереди землю, —

пустынный берег и невысокие горы. Не помню уж по каким признакам удалось определить, что мы уклонились к востоку от Босфора, и что перед нами берега Анатолии. Дальше всё было относительно просто: повернув на запад и всё время идя параллельно берегу, часа три-четыре спустя, мы благополучно добрались до Босфора, в своем святом неведеньи пройдя, как после выяснилось, по еще не протраленным после войны минным полям.

Относительно Босфора я знал, что вход в него, особенно осенью, довольно труден и опасен, но нам и тут повезло: день был ясный и безветренный, море спокойно, а когда мы приблизились к проливу, в него как-раз входил какой-то большой пароход. Я пристроился к нему в кильватер и завершил путешествие вполне благополучно.

На константинопольский рейд "Хриси" вступила с такой же законной гордостью, как тысячу лет назад вступали на него лодьи князя Олега. Так как это уже касалось моей прямой специальности, я постарался: на наших реях, кроме "позывных",[1]) развевались сигналы "терпим голод" и "терпим жажду".

[1]) Позывные — комбинация сигнальных флагов, означающая название данного судна.

3. СОЮЗНЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ И ГОЛОДНЫЙ БУНТ.

Поднятые мной сигналы довольно быстро возымели своё действие, хотя и не такое, как мы ожидали. В простоте нашей русской души, еще не тронутой западной цивилизацией, мы думали, что нас прежде всего накормят. Но вышло иное. Часа пол спустя после того, как мы бросили якорь, к нам подлетел нарядный английский истребитель и остановился в нескольких метрах от "Хриси". На его верхней палубе был установлен на треноге киносъемочный аппарат, рядом стоял стол, на котором высилась большая груда нарезанного кусками белого хлеба, а вокруг толпилось десятка полтора изысканно одетых дам и джентельменов, среди которых мы заметили одного, тоже очень импозантного русского "земгусара"[1]) в полувоенной форме с широкими золотыми погонами.

— Вы очень голодны? — осведомился последний.

Мы ответили утвердительно, пояснив, что два дня почти ничего не ели.

— Эти леди о вас позаботятся. Но сначала мы сделаем небольшую киносъемочку. Она будет для вас полезна: на ваше положение обратят внимание солидные круги английской общественности.

Не очень довольные таким началом и не понимая —

---

[1]) Земгусарами у нас называли чиновников Земского Союза и Союза Городов, которые во время войны надели военную форму и из желания походить на офицеров, нередко «пересаливали»: вместо положенных им узких погон, носили широкие, надевали шпоры и т. пр.

зачем мы понадобились английской общественности или она нам, — все замерли у борта, ожидая, что нас запечатлеют на плёнке, а потом будут кормить. Но оказалось, что нас хотят фильмовать не просто, а так сказать художественно, с желательными для англичан эффектами. Дамы с палубы истребителя начали кидать в толпу кадет куски хлеба. Кое-кто из голодных малышей кинулся было хватать их, но наш генерал выпуска[2]) Лазаревич, — старший кадет, слово которого, в силу традиции, было для всех остальных непререкаемо, — громко крикнул.

— Не прикасаться к этому хлебу! Не видите, что ли, — эти халдеи хотят вызвать среди нас свалку, чтобы потом показывать у себя в Англии, как"русские дикари" дерутся из-за еды!

Куски хлеба сыпались на наши головы и плечи, но мы стояли неподвижно, как бы не замечая этого. Тогда англичане, видя что на хлеб русские не клюют, принялись метать в нас сигареты, но их тоже никто не ловил и не поднимал. Застрекотавший было киноаппарат сразу замолк. Физиономии английских дам приняли оскорбленно-негодующее выражение, — наш образ действий казался им явно неприличным.

— Напрасно вы так, — укоризненно промолвил земгусар. — Что вам стоит доставить дамам это удовольствие? Они вам очень сочувствуют и хотят сделать интересные снимки, которые для вас же будут полезны...

— Скажи своим дамам, что для них будет полезно, если они отсюда поскорее смоются, да и сам убирайся с ними ко всем чертям! — крикнул кто-то из нашей толпы. — А то мы сейчас начнем швырять в вас не хлебом, а чем-нибудь потяжелее!

Земгусар что-то негромко сказал по-английски, "общественность" возмущенно залопотала, но доброго совета послушалась: истребитель дал ход и минуту спустя скрылся за кормой стоявшего поблизости транспорта.

---

[2]) Генералом выпуска в кадетских корпусах провозглашался тот кадет седьмого (выпускного) класса, который дольше всех пробыл в стенах данного корпуса, иными словами, он минимум в двух, а иногда и в трех классах оставался на второй год.

Вся "Белая Русь" уже находилась здесь, рейд был усыпан нашими военными кораблями, пароходами, транспортами и баржами, — мы, кажется, пришли последними. Заметив в отдалении миноносец "Беспокойный", я взял сигнальные флажки и просемафорил туда:

— Привет господам офицерам и команде от капитана дальнего плаванья Михаила Каратеева.

— По лоханке и капитан, — ответил вахтенный сигнальщик с "Беспокойного". — Куда тебя везут, Мишка?

— Не знаю. А вас куда?

— Говорят, в Африку.

— Ну, кланяйся от меня слонам и бегемотам.

— Есть, кланяться слонам и бегемотам.

Все наши военные корабли действительно были направлены в тунисский порт Бизерту, и ни одного своего сослуживца по "Беспокойному" я больше никогда в жизни не встретил.

Через час после визита английской "общественности", обед нам прислали французы. Правда, он был отвратителен, но имел то преимущество, что его нам выдали без всяких издевательств. Это было варево из червивых галет и неочищенной, даже не мытой картошки. Черви плавали на этом, с позволения сказать, супе толстым слоем, есть его было немыслимо, но мы вылавливали из него картошку, чистили ее, обмывали в воде и ели.

Выручали также "кардаши", — турецкие лодочники-торговцы, сновавшие вокруг наших судов и с предельной бессовестностью обменивавшие на хлеб, инжир и халву всё, что им могли предложить голодные люди. Впрочем, мы быстро научились с ними обращаться. Такой кардаш, чтобы его не относило течение, прежде чем вступить в торговлю, бросал веревочный конец со своей лодки на борт и мы его наверху закрепляли. И вот, когда он за револьвер, часы или золотое кольцо, которое стоило дороже всей его пловучей лавочки, совал нам кусок халвы и пару хлебцев, а "добычу" опускал в карман, мы начинали за конец подтягивать его лодку кверху. Турок сначала свирепо ругался, но по мере того как его лодка приближалась к вертикальному положению

и товары с нее готовы были посыпаться в воду, он входил в разум и принимался кидать наверх хлеб, халву и вязки инжира, пока мы, удовлетворенные полученным, его не опускали.

Ни в первый день нашего стояния на константинопольском рейде, ни на следующий, никто не знал — оставят ли нас в Турции или повезут дальше, и куда именно. Слухи ходили самые разнообразные, — говорили о Египте, Греции, Болгарии, каких-то островах и даже о Бразилии. Наш директор, между тем, несколько раз съезжал на берег и с кем-то вёл там переговоры, в результате которых на третий или на четвертый день определилось, что мы отправляемся в королевство СХС (Сербов, Хорватов и Словенцев), как тогда называлась Югославия.

В тот же день нас перегрузили на огромный пароход русского Добровольного флота "Владимир". Здесь, кроме нас, находилось еще несколько тысяч беженцев, военных и штатских, но корпусу отвели два больших трюмных помещения, в которых мы расположились хотя и не очень комфортабельно, но все же несравненно удобней, чем на "Христи". Тут, между прочим, выяснилось, что с нами едет десятка полтора совершенно посторонних и никому не известных лиц, которых Дед, по доброте своей, согласился условно записать, как служащих корпуса, чтобы облегчить им въезд в Югославию. Опережая события скажу, что по приезде на место от большинства из них он не смог отделаться и вынужден был действительно изобрести им какие-то должности при корпусе. Кое-кто из этих "служащих" нам впоследствии изрядно напакостил.

Дальнейшее наше плаванье протекало без особых приключений, во всяком случае крупных. Мелкие были. Из них стоит отметить так называемый "голодный бунт", в котором ведущую роль с большим темпераментом и успехом провёл мой одноклассник Коля Михайлов, — впоследствии инженер и родной отец ныне широко известного югославского литератора Михайло Михайлова.

Предварительно надо сказать, что на "Владимире"

кормили нас хуже чем впроголодь и, в частности, выдавали очень мало хлеба, т. к. он находился в веденьи не нашего эконома, а какого-то высокопоставленного интенданта, который отпускал его всему населению парохода. Хлеба в его распоряжении было сколько угодно, — он, сложенный высокими штабелями, как дрова, лежал в нескольких местах на палубе, накрытый брезентами, и чтобы его не растаскивали голодные люди, возле этих складов стояли наши же кадеты часовые, с винтовками в руках.

В связи с этим, вспоминается забавный случай. В хлебные караулы часовыми назначались кадеты шестого класса, а караульными начальниками и разводящими были семиклассники. Кажется, на вторую ночь караульным начальником был я, а одним из часовых кадет Владимир Бурман. Около девяти часов вечера, когда он стоял на посту, в караульное помещение вошел один из воспитателей Владикавказского корпуса, полковник К. и с возмущением мне сказал:

— Безобразие! Ваш часовой кадет Бурман, вместо того чтобы охранять хлеб, стоя на посту, жрёт его сам! Потрудитесь завтра доложить об этом директору корпуса.

— Слушаю, господин полковник! — ответил я и отправившись на место происшествия, распушил бедного Бурмана, как требовала служба.

Однако, этом дело не кончилось. В два часа ночи, когда на посту опять стоял Бурман, с палубы пришел какой-то незнакомый мне человек и сообщил, что часовой, стоящий на посту номер три, просит караульного начальника прийти на пост, чтобы принять арестованного за кражу хлеба. Я поспешил туда, и увидев арестованного, не хотел верить глазам: это был полковник К. Сияя торжеством, Бурман сдал мне его с поличным, — с буханкой хлеба в руках, которую он, под угрозой винтовки, не позволил положить на место до моего прихода. Как после выяснилось, сообразив что полковник в столь поздний час не зря прогуливается по палубе, Бурман спрятался под брезент и умудрился накрыть своего врага.

По дороге в караульное помещение, я сказал:

— Что же, господин полковник, завтра, когда по вашему приказанию я буду докладывать директору корпуса о проступке кадета Бурмана, придется и о вашем приключении сказать ему несколько слов.

— Ради Бога, Каратеев, не возбуждайте скандала! — взмолился полковник. — Поймите, я не для себя взял этот хлеб, у меня семья голодает!

— Бурман тоже ел хлеб не из озорства, а от голода, однако вы этого не захотели понять. Но, к счастью, я понимаю вас обоих, ибо сам голоден, а потому ни о ѣом докладывать директору не буду и поставим на это дело крест. Спокойной ночи, господин полковник!

Однако, возвращаюсь к "бунту". Вскоре лежавший на палубе хлеб от сырости начал зеленеть и покрываться плесенью, а нам по-прежнему выдавали его мизерными порциями. Такое положение привело к тому, что в один прекрасный день человек десять кадет первой роты отправились на поиски интенданта. Он был обнаружен на верхней палубе. Никаких определенных планов относительно методов воздействия на него у нас не было, может быть всё обошлось бы мирно, но увидев перед собой развалившуюся в лонгшезе упитанную фигуру военного чиновника, в роскошной генеральской шинели с красными отворотами, голодный как волк Михайлов сразу озверел. Интендант, на беду, тоже попался гоноровый. Между ними произошел такой диалог:

— Это вы главный интендант парохода?

— Да я. Но, к вашему сведенью, у меня есть чин: тайный советник, титулуемый превосходительством, — так ко мне и следует обращаться. Что вам угодно?

— Угодно знать, для кого вы бережете хлеб?

— Я вам не обязан давать в этом отчет.

— Вы так думаете? А вы никогда не видели, как из тайного советника делают явного покойника?

— Это бунт! — заорал "советник", вскакивая с кресла. Михайлов выхватил наган. Мы их окружили, готовые в случае надобности удержать от крайностей рассвирепевшего Михайлова, но вместе с тем угрожающе рыча на интенданта.

— Я бы на вашем месте согласился раздать хлеб, — вкрадчивым голосом порекомендовал ему спокойный и рассудительный кадет Трофимов. — А то долго ли до греха? Будет жаль, если зря погибнет такой шикарный советник, титулуемый превосходительством.

— Хорошо, я распоряжусь, — бледнея пробормотал чиновник, при виде нагана сразу утративший весь свой апломб. В этот момент на палубе появился Дед, которого кто-то из пассажиров известил о происходящем. Он немедленно нас разогнал и принялся успокаивать интенданта, который при новом обороте дела воспрянул духом и снова зарокотал возмущенным "генеральским" голосом.

Этот "бунт" имел два последствия: хлеба стали давать вдоволь, но, по требованию капитана парохода мы были разоружены. Опасаясь эксцессов, начальство провело эту операцию очень осторожно: кадетам не сказали ничего, а глубокой ночью унесли и сдали пароходному коменданту все наши винтовки, стоявшие в козлах, в углу трюма. Для успокоения, нам обещали возвратить их по высадке на берег, но больше мы их никогда не увидели и утешились тем, что револьверы у нас остались.

Интендант рвал и метал, требуя для зачинщиков чуть ли не расстрела, но, кроме выговора, виновникам этого инцидента ничего не было. Дед своих в обиду не давал.

4. В ЮГОСЛАВИИ

Через несколько дней, добравшись до северных берегов Адриатического моря, мы вошли в бухту Бакар и высадились в каком-то небольшом и чрезвычайно неблагоустроенном порту, в непосредственной близости от Фиуме. Этот важный портовый город, раньше принадлежавший Италии, по версальской перекройке Европы отошел к Югославии и был переименован в Риеку. Но незадолго до описываемых мною событий его снова захватили итальянцы, а точнее — отряд головорезов, собранных известным итальянским поэтом Габриелем д'Аннунцио.[1]) вследствие чего тут было еще далеко не спокойно. Наглядное подтверждение этому мы получили в тот же день: от места высадки до ближайшей железнодорожной станции нам пришлось, по гористой местности, идти километров десять пешком, и по дороге кто-то, очевидно по недоразумению, обстрелял нашу колонну из винтовок. Жертв, к счастью, не было.

Расположившись табором вокруг маленькой станции, как обычно голодные и щелкая зубами от холода, мы несколько часов ожидали, пока туда пришел большой железнодорожный состав, в который все погрузились. Тронулись в путь уже ночью, а часов в десять утра прибыли в хорватскую столицу Загреб. Тут гостеприимные братья-хорваты заблаговременно организовали нам теплую встречу: перрон был густо заполнен

---

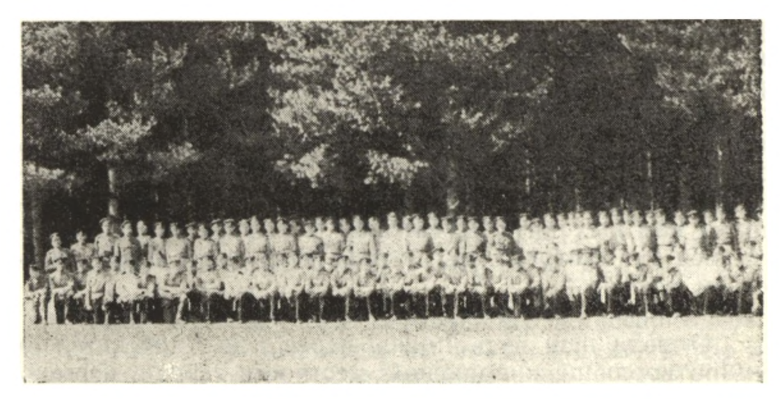
[1]) Это событие послужило главным поводом к тому, что итальянский король вскоре пожаловал Габриелю д'Аннунцио титул князя де Монтеневозо.

разношерстным сбродом, который, едва остановился наш поезд, принялся бесноваться вокруг него, с дикой руганью и криками, из которых нам удалось понять лишь то, что мы проклятые белогвардейцы, всю жизнь пившие русскую народную кровь, а теперь приехавшие пить хорватскую. В двери наших теплушек было даже запущено несколько камней, а потому начальство не разрешило нам выходить из вагонов, и вместо предполагавшегося тут завтрака, мы потуже подтянули пояса и поехали дальше.

Отсюда наш путь пошел через всю Словению, по умиротворяюще-живописной местности, среди невысоких гор, покрытых лесами, — открывающиеся перед нами виды напоминали Тироль, где мне довелось побывать вместе с родителями, еще до поступления в корпус. Вечером поезд остановился возле крохотной станции Сан-Лоренцо, в лесистых предгориях Альп. В полуверсте от нее находилась конечная цель нашего путешествия, — лагерь Стернище, построенный во время войны для австрийских военнопленных.

Здесь, на обширной поляне, стояло с полсотни дощатых, обитых толем бараков, вместимостью человек на сто каждый. Все они теперь пустовали и правительство Югославии целиком предоставило этот лагерь русским. В нем, кроме нашего корпуса, поместился Донской, а также порядочное количество семейных беженцев, эвакуированных из Крыма.

За чертою лагеря находился небольшой словенский посёлок, где имелись две-три харчевни и несколько лавок, а вокруг расстилался чудесный, преимущественно хвойный лес, полный белок. От барака отведенного нашей, первой роте, до его опушки было не более двадцати шагов. Место было уютное, чарующее какой-то особой, почти русской прелестью окружающей природы, что в значительной степени скрасило нам дальнейшее существование. Добрая половина нашей жизни проходила в лесу: туда удирали от уроков, там, под какой-нибудь разлапистой елью закладывалась "пулька", когда игра в преферанс в бараке была запрещена; там, в тишине, хорошо было готовиться к экзаменам, а еще



Первая рота Крымского кадетского корпуса в Стернище.

лучше — ухаживать за барышнями, которых в лагере было немало, устраивая совместные прогулки и пикники.

Однако, все прелести этой "дачной" жизни мы в полной мере познали с наступлением весны, а сейчас нас встретила зима и притом довольно суровая. Даже лучшие, пригодные к обитанию бараки были к ней плохо приспособлены. В помещении каждой роты стояло по две железные печки, они топились день и ночь, но обогревали вокруг себя лишь небольшое пространство, а дальше царил вечный холод, — в углах барака по ночам замерзала вода. Спали мы на деревянных топчанах, — каждому было выдано по два тощих солдатских одеяла, а на подстилку употреблялись шинели, т. к. матрацев не было. Иными словами, приходилось изрядно мёрзнуть, особенно тем, кому достались места далеко от печей. Такие часто, не выдержав лютого холода, среди ночи вскакивали с постелей и бежали греться к ближайшей печке. Снаружи нередко бушевали мятели и всё было покрыто глубоким снегом.

В лагере имелась небольшая электрическая станция для освещения, водопровод и хлебопекарня, — всё это обслуживалось местными рабочими словенцами. По слу-

чаю нашего приезда, они немедленно забастовали, заявив, что не станут работать на русских буржуев и кровопийц. Однако среди нас нашлись соответствующие специалисты, водопровод и электростанция в тот же день были пущены в ход, а когда двое или трое бастующих попробовали устроить скандал, им легонько накостыляли шеи. Видя такое дело, словенские поклонники русской революции сложили гнев на милость и снова взялись за работу. В ту пору вообще, как в Словении, так и в Хорватии, людей настроенных прокоммунистически и совершенно не скрывающих этого, было такое количество, что мы просто диву давались и думали, что тут тоже вот-вот вспыхнет гражданская война.

Нашим легерем официально заведывал югославский "предстойник", — нечто вроде коменданта, в подчинении которого находилось три или четыре жандарма, но в жизнь корпуса они почти не вмешивались и нам нисколько не докучали. По внутренней же линии мы были непосредственно подчинены русскому военному агенту, генералу Потоцкому, проживавшему в Белграде, а экономически зависели от так называемой Державной Комиссии, через которую шли правительственные субсидии всем русским учреждениям и беженцам. Эта коммисия нашими симпатиями отнюдь не пользовалась, ибо распределение средств в значительной степени зависело там от усмотрения некоторых русских общественных деятелей, которые явно не сочувствовали "военщине" и старались держать кадетские корпуса в черном теле. И вероятно они бы просуществовали недолго, если бы не покровительство короля Александра, который сам окончил в России Пажеский корпус. По его личному распоряжению, на каждого из нас вскоре стали отпускать по 400 динар в месяц, вместо двухсот-сорока, определенных Державной комиссией.[2])

Из этой суммы кадетам первой роты выдавали на руки по пятьдесят динар, — этого хватало на табак и

[2]) На эти деньги корпус существовать, конечно, не мог, даже при том условии, что преподаватели и воспитатели не получали за свой труд никакого вознаграждения.

мелкие расходы, а остальное шло в общий котёл. Довольствие наладилось не сразу, но когда наладилось, кормить стали вполне сносно. Не говорю "досыта", ибо, как известно, приличный кадет, сколько его ни корми, всегда непрочь поесть еще. И в этом отношении нас первое время выручал содержатель одной из местных харчевень, словенец и видимо большой оптимист, т. к. за порцию гуляша или сосисок с картофельным пюре он, вместо четырех динар принимал врангелевскую тысячу, уповая на то, что когда-нибудь восстановится ее номинальная стоимость и он станет богачем. Только собрав два или три мешка этой валюты, он начал сомневаться в целесообразности своей финансовой авантюры и стал требовать плату динарами.

В Стернище мы быстро обжились, а вскоре начались и занятия. Они велись в весьма примитивной обстановке, особенно первый год. Помещений, приспособленных под классы, почти не было, т. к. в пустых бараках, за отсутствием печей и оконных стекол, свирепствовал мороз, а потому уроки обычно давались в спальне. Вокруг преподавателя рассаживалось на постелях соответствующее отделение, на некотором расстоянии располагалось другое. Если в числе трех или четырех педагогов, одновременно выступающих в бараке, бывал один, который читал свой предмет интересно и увлекательно (как, например, профессор Малахов), публика из других отделений постепенно откочевывала к нему, оставляя при своем преподавателе лишь несколько человек, "для представительства". На это, так же как на "самодралы" (т. е. непосещение уроков), первое время смотрели довольно снисходительно, понимая, что после двух лет пребывания на фронте, трудно нас сразу обуздать и превратить в примерных школяров.

В частности мы, семиклассники, если не все по возрасту, то по жизненному стажу были уже вполне оформившимися, самостоятельными людьми и потому начальство нас почти не прижимало, рассудив, что благоразумнее всего скорее от нас избавиться, дав нам возможность окончить корпус без лишних осложнений. Даже выпускные экзамены нам было разрешено сдавать не в

обычном порядке, а "по студенчески", каждому отдельно, по мере подготовки к тому или иному предмету. Чтобы наверстать потерянное время, летних каникул не было и вместо июля нас выпустили в сентябре. Следующий выпуск, тоже почти сплошь состоявший из кадет, побывавших на войне, прибрали к рукам покрепче, а остальных уже нетрудно было ввести в русло нормальной кадетской жизни.

Стоит отметить, что неподалеку от нас, в городе Мариборе, находился югославский, вернее бывший австрийский кадетский корпус. Узнав о нашем прибытии, несколько офицеров и старших кадет оттуда явились к нам с визитом, который вскоре был отдан и с тех пор между нашими корпусами установилась довольно тесная дружеская связь. Весною вся наша первая рота была приглашена в Марибор, где югославские кадеты приняли и угостили нас на славу. Мы приехали со своим духовым оркестром, который после обеда исполнил несколько концертных вещей и произвел фурор.

Наш оркестр и в самом деле был очень хорош и вскоре стал известен на всю Югославию. Этим мы были обязаны нашему капельмейстеру Цыбулевскому, который окончил консерваторию и в России был, если не ошибаюсь, капельмейстером лейб-гвардии Преображенского полка. Заграницей он уже был известен, как выдающийся дирижер и его часто приглашали дирижировать концертными выступлениями больших симфонических оркестров, в Белград, Вену, Прагу и другие европейские столицы. Это давало ему прекрасный заработок, а он, в свою очередь, не жалел денег на пополнение нашего оркестра новыми музыкальными инструментами, доведя его состав до шестидесяти человек и добившись от них безукоризненного исполнения даже очень трудных концертных вещей. Когда умер престарелый югославский король Петр Первый (отец короля Александра), на его похоронах играл наш оркестр, специально для этого вызванный в Белград.

Между прочим, несколько наших кадет музыкантов для заграничных выступлений Цыбулевского распи-

сывали ему нотные партитуры. Платил он за это довольно скупо, а придирался нещадно, что привело к забавному инциденту: на очередном концерте в Праге Цыбулевский должен был с тамошним оркестром исполнять "Светлый праздник" Римского-Корсакова. С партитурой он очень спешил, нервничал и так извёл переписчиков, что они со злости в самом патетическом месте увертюры, в "соло" виолончели вставили ему "Яблочко". Конечно, перед концертом всегда бывала хоть одна репетиция, так что Цыбулевский на этом не пострадал, но развеселил чешских музыкантов изрядно. По возвращении он чуть не оторвал виновникам головы, но т. к. это были хорошие музыканты и его любимцы, вскоре сложил гнев на милость.

По отношению к Мариборскому корпусу мы, разумеется, в долгу не остались и некоторое время спустя пригласили всю его старшую роту к себе. Был устроен прекрасный общий обед, для которого — помимо умеренного количества вина, разрешенного начальством, — нами были заготовлены и тайные резервы, благодаря чему трапеза прошла исключительно весело и некоторых гостей, чтобы им не влетело от своих офицеров, пришлось увести в лес, отсыпаться. Вечером местными любительскими силами был дан спектакль, за которым последовали танцы. Уехали гости только под утро.

Вообще первый год нашего пребывания в Югославии был богат впечатлениями и событиями внутреннего порядка. Бывали тут и "бенефисы", время от времени устраиваемые особо въедливым воспитателям, через-чур рьяно стремившимся обуздать нашу вольницу; не раз случались массовые драки со словенскими рабочими-коммунистами; участвовали мы в тушении крупных лесных пожаров, устраивали облавы на белок, охотились за призраком "Черной Дамы", который, согласно местной легенде, появлялся в окружающем лагерь лесу. Обо всем этом можно было бы написать не одну главу, но я здесь остановлюсь только на одном событии, вернее на целой истории, получившей в ту пору громкую известность, с резонансом на всю Югославию.

5. КЛУБ САМОУБИЙЦ

Когда апрельское солнце обогрело землю и пробудившаяся природа приобрела особо чарующую прелесть, более остро почувствовалась тоска по Родине. Эта первая наша весна на чужбине, несмотря на всю ее внешнюю щедрость, была для нас бедна надеждами и вместо естественного прилива жизнерадостности, на многих навеяла щемящую, подсознательную грусть. Заметно захандрил кадет моего отделения Женя Беляков, и кончил тем, что бросился под поезд. Это был добрый и скромный малый, Георгиевский кавалер и отличный товарищ, у нас его все любили.

Этот трагический случай, конечно, всколыхнул умы, о нем было много толков, — просто как о печальном факте. Но когда две недели спустя застрелился кадет шестого класса Ильяшевич, это уже взволновало всех и начальство почему-то решило, что в первой роте организован клуб самоубийц, члены которого будут стреляться по жребию, через определенные промежутки времени.

Поднялся страшный переполох. Заседали педагоги, собираясь кучками, о чем-то таинственно шушукались воспитатели. За многими кадетами, которые казались начальству подозрительными, началась довольно неуклюжая слежка, — офицеры пытливо вглядывались в наши физиономии и подслушивали разговоры. Мы, старшие кадеты, — не зная в какой мере правдивы все эти слухи, — тоже расспрашивали друг друга, судачили и наблюдали, стараясь обнаружить какие-нибудь реальные признаки существования "клуба". Но всё говорило за

то, что он является плодом чьей-то досужей фантазии или чрезмерной "проницательности" начальства. В частности, было совершенно очевидно, что между двумя самоубийцами не существовало никакой связи: Беляков был кадетом Полтавского корпуса, а Ильяшевич Владикавказского, вместе они никогда не служили, учились в разных классах, спали в противоположных концах барака и едва ли когда-нибудь перемолвились хоть словом.

Всех нас по-очереди вызывали к Римскому-Корсакову на допрос. Вызвали и меня. Дед держал себя поотечески, выспрашивал — что я знаю о клубе, кого подозреваю в склонности к самоубийству и "ради спасения жизни многих моих товарищей" уговаривал сознаться или указать известных мне участников этой "зловещей организации", клянясь, что никому из них ничего плохого не сделают. Я, со своей стороны, нисколько не кривя душей клялся, что ничего не знаю и что по моему искреннему убеждению никакого клуба вообще не существует. То же самое отвечали видимо и все другие. Может быть на этом дело бы заглохло, но тут последовало — и на беду опять через две недели, — новое покушение на самоубийство, скорее всего явившееся следствием той психической атмосферы, которая создалась в корпусе благодаря панике, поднятой начальством.

После этого случая директор решил, что надо действовать быстро и энергично. Целый день у него на квартире шли какие-то совещания, а вечером произошло следующее: я, после ужина, отправился в один из ближайших бараков, где жила барышня, за которой я ухаживал, и там, в компании молодежи, превесело проводил время. Было часов одиннадцать, когда из помещения роты прибежал мой закадычный друг Костя Петров и вызвав меня наружу, сообщил:

— Миша, у нас в бараке полно югославских жандармов, они делают обыск и арестовывают многих кадет. Ищут и тебя, а все твои тетради уже забрали.

— Ты что, Кот, разыграть меня вздумал? — спросил я, настолько всё это показалось мне неправдоподобным.

— Какой там розыгрыш! Прибежал, чтобы предупредить тебя. Хочешь, иди туда, а хочешь драпай, тебе виднее!

Совесть моя была чиста, никаких крупных "художеств", особенно таких, которые могли бы заинтересовать полицию, за мной не числилось и потому я поспешил в роту. У входа в наш барак стоял полицейский автомобиль-фургон, в который жандармы впихивали нескольких кадет. В том, что Петров сказал правду, сомнений теперь не оставалось. Я вошел в помещение. Тут были все офицеры нашей роты и человек десять жандармов, которые, по имевшемуся у них списку, арестовывали кадет и забирали из тумбочек их тетради и прочую писанину. Я направился прямо к своему отделенному воспитателю, капитану Трусову.

— Что случилось, господин капитан?

— Ничего особенного, ты не волнуйся, голубчик, — ответил добряк Трусов. — Директор корпуса хочет выяснить, кто состоит в клубе самоубийц и не видит иной возможности это сделать. Вас только допросят в жандармерии и сразу отпустят. Ты, главное, будь спокоен и говори всю правду.

Кажется, я был последним, кого искали. Меня сунули в автомобиль, который сейчас же тронулся по дороге на ближайший город Птуй, находившийся в нескольких верстах от лагеря. Сидевшие с нами жандармы разговаривать друг с другом нам не позволяли.

Было уже за полночь, когда нас привезли в город и высадили во дворе старинного, мрачного замка, часть которого в ту пору была приспособлена под тюрьму. По крутой, каменной лестнице с выщербленными ступенями, всех провели в подвальное помещение и тут распределили по одиночным камерам, — только меня и Лазаревича, шедших сзади, за недостатком места посадили вдвоем. Наша камера, — сырой и узкий склеп, с маленьким зарешеченным окошком где-то наверху, — живо напомнила мне так красочно описанный Александром Дюма каменный мешок, в котором был заточен граф Монтекристо. В такой обстановке даже у самого жизне-

радостного человека могли зародиться мысли о самоубийстве.

Оглядевшись, мы уселись на стоявший здесь топчан, закурили и для облегчения души долго и с искренним чувством ругали Деда и всех его пособников. Затем погрузились в молчание, предавшись каждый своим думам. В существование клуба самоубийц я до этого дня не верил. Но тот оборот, который теперь получило дело, невольно заставлял думать, что начальство знает больше чем я и располагает какими-то важными уликами. Не может же быть того, чтобы просто так, здорово живешь, почти два десятка кадет, как уголовные преступники были отданы в руки югославской полиции и посажены в это подземелье! Значит, клуб всё-таки есть, думал я. Очевидно Дед собрал о нем достоверные сведенья и приказал арестовать его членов, а меня включили в их число просто по ошибке. Придя к такому заключению, я толкнул локтем дремавшего Лазаревича и сказал:

— Слушай, Лонгин! Даю тебе слово, что я никого не выдам, если даже нас начнут поднимать в этом учреждении на дыбу. Но расскажи мне толком об этом вашем клубе, чтобы я по крайней мере знал, за что и за кого страдаю. Ведь меня-то к вашей компании пригребли совершенно зря!

— Миша! Честью тебе клянусь: я ни в каком клубе не состою и ровно ничего о нем не знаю! Сам как-раз думал о том, что наверно вы все здесь самоубийцы и только одного меня схватили по ошибке.

— Погоди, что же это получается? Нас в этом каменном гробу двое и обоих арестовали ни за что ни про что. Это наводит на мысль, что и со многими другими дело обстоит точно так же. Значит, людей выбирали для ареста просто по наитию или потому, что их рожи кому-то не понравились?

— Выходит, что так. Я думаю, никакого клуба вообще нет, дураки стреляются каждый сам по себе. Ну, а Деду, конечно, что-то предпринять надо, вот он и намудрил с переляку.

— Да, можно сказать, наломал дров старый хрен! Но если весь этот "клуб" высосан из пальца, интересно

— почему именно нас арестовали, а не других? Я, например, совсем не меланхолик и никаких надежд на самоубийство начальству не подавал.

— А черт их знает, чем они руководствовались! Наверно каждый зверь[1]) на совещаниях у Деда записывал в самоубийцы тех, на кого имел зуб. Небось ни одного пай-мальчика или директорского любимца среди арестованных нет, а у них-то, как раз самые скучные морды.

— Это верно! Взять хотя бы главного фаворита "Жоню" Соколова: поглядишь на него — ходячая мировая скорбь, ряжка такая, будто уже петлю себе приготовил. А его и пальцем не тронули!

Утром нас по-очереди начали вызывать на допрос. Следствие вёл какой-то сербский офицер, довольно симпатичный и сносно говоривший по-русски. Чувствовалось, что всей нашей истории он особого значения не придает или просто в нее не верит, и допрашивает нас только для соблюдения формальности. Меня он спросил, состою ли я в клубе самоубийц, что о нем знаю, кого подозреваю и имел ли намерение застрелиться сам? Я на все эти вопросы ответил отрицательно и был отведен обратно в камеру.

Часов в семь вечера, когда следствие было закончено, нас вывели на двор, усадили в автомобиль и доставили обратно в лагерь. Возвращая арестованных корпусному начальству, старший жандарм заявил, что ни допрос, ни просмотр наших бумаг ничего уличающего нас не обнаружил, и что власти не считают возможным по одному лишь подозрению держать в тюрьме целую ораву кадет.

Мы полагали, что нас теперь отпустят, но не тут-то было: директор распорядился прямо из полицейского автомобиля пересадить нас в карцера. Под таковые в лагере был отведен целый барак, разделенный на отдельные камеры. Я здесь сиживал чаще других и у заведующего карцерами, милейшего полковника Навроцкого, считался своим человеком. Уважая мой стаж, он всегда

---

[1]) Зверями кадеты называли воспитателей и прочее начальство.

сажал меня в облюбованный мною карцер № 7 и в случае надобности даже освобождал его, при моем появлении, от других сидельцев. Так же он поступил и на этот раз. А главная прелесть номера седьмого заключалась в том, что вынув из его стены две доски, можно было вылезти наружу.

Когда совсем стемнело, к окошку одного из карцеров подобрался кто-то из кадет и сообщил, что по слухам начальство теперь собирается отправить всех нас в сумасшедший дом. Через тонкие деревянные стенки мы свободно переговаривались и новость мгновенно облетела весь барак. В том, что она вполне правдоподобна, после наших вчерашних злоключений никто не усомнился и из всех шестнадцати карцеров в адрес Деда послышались такие пылкие и выразительные пожелания, что над бараком едва не поднялась крыша. Когда все немного разрядились, кто-то предложил выломать двери карцеров и разбежаться. Сделать это было нетрудно, но в кадетской форме и без гроша в карманах мы бы все равно не смогли выбраться из лагеря, и таким поступком только дали бы лишний козырь в руки директора, а потому я внёс другое предложение, которое всеми было принято.

В одиннадцать часов ночи я вылез из своего карцера и отправился прямо на квартиру к Римскому-Корсакову. Дед еще не спал и был чрезвычайно удивлен моим появлением.

— Ты как здесь очутился? — спросил он, вводя меня в свой кабинет.

— Удрал из карцера, ваше превосходительство.

— Как же ты посмел это сделать?

— А чем я рискую? Мне совершенно безразлично с каким баллом по поведению или с какой аттестацией меня посадят в тюрьму или в сумасшедший дом.

— Что за глупости ты говоришь! Кто тебя собирается сажать в тюрьму или в сумасшедший дом?

— В тюрьму нас отправили вчера, и если сегодня оттуда выпустили, то это было сделано сербскими властями, явно вопреки вашему желанию, — иначе вы бы

нас не подвергли новому аресту. Мы уже знаем, что теперь нас собираются отправить в сумасшедший дом, и от имени всех арестованных я пришел вам сказать: до вчерашнего дня никто из нас о самоубийстве не помышлял, но такое обращение может довести до самоубийства кого угодно.

— Господи, только этого еще не хватало! Ну, хорошо, если так, то я рад, что ты пришел. Садись и давай поговорим откровенно. Забудь на время, что я генерал и директор корпуса, а ты кадет. Перед тобою находится Дед, не только по прозвищу, но и по чувствам, дед любящий тебя и всех других своих многочисленных внуков. Пойми, разве я могу оставаться равнодушным к тому, что среди вас происходит и сложив руки ожидать того дня, когда мне придется хоронить очередную жертву этого ужасного психоза! Необходимо как-то пресечь это, разрядить наэлектризованную атмосферу. Я и стараюсь это сделать, и не моя вина в том, что благодаря вашему недоверию, мне приходится действовать вслепую. У меня сердце кровью исходит, а у тебя еще хватает жестокости упрекать меня и угрожать новыми самоубийствами!

— Я не угрожаю, ваше превосходительство, а только хочу, чтобы вы знали, что меры, принятые вами, могут привести к обратным результатам. Из шестнадцати совершенно нормальных и ни в чем не повинных кадет, которых ни с того ни с сего попытались усадить в тюрьму, а теперь собираются упрятать в сумасшедший дом...

— Да откуда вы взяли весь этот вздор? — перебил меня Дед. — Вас увезли на одну ночь в Птуй потому, что по слухам вчера ожидалось новое самоубийство и надо было как-то помешать ему. А теперь не в сумасшедший дом я вас хочу отправить, а в прекрасную санаторию, где вы, пользуясь полной свободой, отдохнете месяц или полтора, приведете свои нервы в порядок, а потом возвратитесь в корпус, продолжать занятия. Так и скажи всем остальным.

— Слушаюсь, ваше превосходительство. Но мы хотели бы получить ответ еще на один вполне законный вопрос: почему именно нас избрали для "разрядки ат-

мосферы“ и увоза куда-то? Какие за нами нашли грехи и какими уликами они подтверждаются?

— Мы не знаем кто состоит в клубе самоубийц и потому должны были руководствоваться различными косвенными данными: настроением каждого из вас, его поступками, склонностями и т. п. Может быть в комлибо мы ошиблись, но я уверен, что вся головка клуба находится среди арестованных.

— Вам кто-то наврал про этот клуб, ваше превосходительство, или его выдумали доморощенные пинкертоны. Если бы он действительно существовал, мы, кадеты, о том бы знали.

— Если не все, то некоторые, несомненно и знают, но из чувства ложного товарищества не хотят выдавать своих. Ты, например, можешь мне поклясться, что клуба вовсе не существует?

— В этом поклясться не могу, хотя почти уверен, что всё это сплошная брехня. Но клянусь вам своей кадетской честью, что я никакого отношения к этому делу не имею, ничего о клубе не знаю и сам стреляться не собирался.

— Я тебе верю, — сказал Дед, минутку подумав. — Можешь ты, не боясь ошибиться, дать такую же клятву относительно кого-либо из других арестованных?

— Относительно Лазаревича могу дать без вских колебаний.

— Хорошо, я сейчас же прикажу освободить вас обоих, — отнеси эту записку полковнику Навроцкому. А всем остальным скажи, чтобы не волновались. Ничего плохого с ними не будет, ни о каком сумасшедшем доме и речи нет! Пусть все спят спокойно, завтра я лично с ними побеседую, а потом посмотрим, как быть. Ну, иди с Богом! — добавил Дед и поцеловал меня на прощание. Он был добрым человеком, даже слишком добрым, но, к сожалению, эта его доброта весьма неравномерно распределялась между подчиненными.

6. ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ "САМОУБИЙЦ"

Около полуночи я возвратился в карцерный барак, передал товарищам слова Деда, а затем мы с Лазаревичем, получив освобождение, отправились в роту спать, наивно полагая, что "клубная чаша" нас окончательно миновала. Но в пять часов утра нас разбудил капитан Трусов.

— Вставайте и собирайтесь, — сказал он. — Через час отходит поезд, в котором повезут всех арестованных в Белград. С ними поедут три офицера-воспитателя, но и вас директор корпуса просит сопровождать их.

— Если это просьба, то можем ли мы отказаться от поездки? — спросил я, когда до моего сонного сознания дошел истинный смысл этого нового сюрприза.

— Нет, не можете, — ответил Трусов. — Просьба начальника, как вы знаете, равносильна приказанию.

— Понимаем, — пробурчал Лазаревич: — несмотря на вчерашнюю "милость", от нас всё же хотят так или иначе отделаться, и отправляют в ссылку под фиговым листом "сопровождения арестованных".

— Что же, ехать так ехать, — добавил я. — С его превосходительством мы уже едва ли увидимся, так передайте ему, пожалуйста, господин капитан, нашу почтительную благодарность за науку. Весь этот трюк, со вчерашним освобождением и сегодняшним сопровождением, нам очень пригодится, если вместо корпуса придется оканчивать иезуитский колледж.

Трусов принялся нас успокаивать, но мы особенно и не волновались, рассудив, что плетью обуха не перешибешь и что гораздо благоразумнее будет, в случае чего, удрать по дороге. Час спустя, мы уже, вместе со всеми

остальными, сидели в поезде и катили по направлению к Загребу.

Вначале "самоубийцы" были сонны и мрачны, но вскоре юношеская беспечность взяла верх над всеми прочими чувствами и переживаниями. Завязался общий разговор, который быстро сосредоточился на комических фрагментах всей этой нелепой истории, и публика развеселилась. Никаким директорским обещаниям мы больше не верили, общее мнение было таково, что в корпус нам едва ли суждено возвратиться, а потому бояться было нечего и для начала мы решили попугать ехавших с нами офицеров. Их было трое: подполковник Постников, капитан Жоравович и полковник Потемкин, сын которого Дима, знамёнщик нашего выпуска, тоже находился в числе арестованных.

Мы постепенно прекратили болтавню и придали своим физиономиям предельно мрачное выражение. Затем мой одноклассник Женя Яконовский сказал:

— Ну, братцы, пора приступить к делу. Сегодня, как вы знаете, ритуальный день. Теперь терять нам нечего, так что можно действовать в открытую: давайте потянем жребий, кому бросаться под поезд.

При этих словах сидевшие с нами воспитатели беспокойно заёрзали, но все же выдавили на своих лицах подобия улыбки, — мы, мол, понимаем, что это шутка.

— Так вот, — продолжал Яконовский, вытаскивая из кармана карандаш и клочек бумаги, — я делаю шестнадцать билетиков и на одном из них ставлю крест. Каждый, вытянув жребий, должен сейчас же его уничтожить, никому не показывая. Но тот, кому достанется крест...

— Прошу прекратить эти неуместные шутки! — не выдержав перебил его подполковник Постников.

— Никаких шуток тут нет, — возразили ему. — Нас сам директор, генерал-лейтенант Римский-Корсаков назначил в клуб самоубийц, а мы люди дисциплинированные и свои обязанности привыкли выполнять честно. Пиши, Женька, билетики!

— Да вы что, с ума посходили?!

— Говорят, что да. Начальство у нас дюже умное,

ему виднее. Не зря же вы везете нас в сумасшедший дом!

Разгорелась жаркая дискуссия. Мы уверяли, что быстрая смерть под колесами поезда нам куда приятней, чем та трагическая участь, которая ожидает нас в сумасшедшем доме. Офицеры клялись, что нас везут в великолепную санаторию, где мы будем свободно и беспрепятственно предаваться всем радостям жизни, и наконец, признались, что на тот случай, если мы в дороге захандрим или очень разволнуемся, директор отпустил известную сумму денег, чтобы отвлечь нас от мрачных мыслей.

Это известие было нами учтено и должным образом использовано. В Загребе, где у нас была пересадка, с трехчасовым ожиданием следующего поезда, мы выразили желание пообедать в хорошем ресторане и, разумеется, без всякого зажима в области потребления спиртных напитков. Пошушукавшись между собой, воспитатели изъявили на это свое согласие, добавив, что надеются на наше благоразумие.

Отлично закусив и выпив, мы потребовали субсидий на визит в учреждение столь легкомысленного характера, что лица наших опекунов густо покраснели, — то ли от стыдливости, то ли от возмущения. На успех такой наглости мы, собственно, не рассчитывали, но все же возникшие по этому поводу пререкательства с нашим целомудренным начальством доставили нам большое удовольствие.

Продолжая в таком же духе, мы довольно весело скоротали день и около одиннадцати часов ночи прибыли в Белград. На пустынном перроне одиноко стоял среднего роста человек в русской офицерской форме, но без погон. Лица его не было видно, но в фигуре мне показалось что-то знакомое и вглядываясь, я высунулся из окна вагона.

— Скажите, кадет, — спросил офицер, заметив меня, — в этом поезде не едет ли клуб самоубийц Крымского корпуса?

— Это мы самые и есть, — с достоинством ответил я.

— Ага, отлично! Ну, вылезайте, я прислан военным агентом встречать вас, — промолвил мой собеседник и в ту же минуту я узнал его: это был полковник Гиацинтов, под начальством которого я воевал при отступлении на Кавказское побережье, душа-человек и лихой офицер, очень ко мне благоволивший. Я выскочил на перрон и назвал себя. Гиацинтов меня сейчас же вспомнил и мы с ним поздоровались самым сердечным образом. Всех приехавших он отвёл ночевать в какое-то русское общежитие, где публика ютилась преимущественно в старых трамвайных вагонах, снятых с колес и расставленных под деревьями, — а меня пригласил к себе. Я попросил его взять с нами и Лазаревича, на что немедленно получил согласие.

На квартире у Гиацинтова, за бутылкой вина, мы поведали ему всю нашу историю и в свою очередь от него узнали, что относительно пресловутого клуба самоубийц в Крымском кадетском корпусе, по Белграду ходят самые фантастические слухи. То, что на месте было раздуто Римским-Корсаковым, тут, на основании приходящих из Стернища писем, раздули еще в десятки раз. В местной русской колонии говорили, что кроме двух официально объявленных самоубийст, произошла еще целая серия других, которые наше начальство скрывает от югославских властей из боязни, что они закроют корпус. Наш мифический "клуб" тут возвели в степень зловещей и грозной организации, которая терроризировала весь стернищенский лагерь. Позже мы узнали, что все эти дикие слухи злонамеренно распускались некоторыми из тех лиц, которых Дед, по доброте своей, прихватил по пути из Ялты, а после сам не знал, как от них отделаться.

Выслушав нас, Гиацинтов посочувствовал нашим злоключениям и сказал:

— Да, история вполне дурацкая, но всё же вы в панику не вдавайтесь. Я наверное знаю, что ничего плохого с вами не сделают. Военный агент вас отправит на месяц или два в нашу воинскую санаторию, которая находится в Дубровнике, на Адриатическом побережьи. Место на редкость красивое, множество хорошеньких

курортниц, среди которых большой процент очень сговорчивых, и вы там отлично проведёте время.

— Всё это было бы прекрасно, — возразил Лазаревич, — если бы существовала гарантия того, что после санатории нас снова примут в корпус и оставят в покое. Я в нем проторчал десять лет и теперь, когда осталось несколько месяцев до окончания, мне совсем не улыбается лишиться аттестата или, в лучшем случае, засесть на одиннадцатый год. А что на обещания нашего директора особенно полагаться нельзя, в этом мы убедились на собственном опыте.

— Что вы сможете возвратиться в корпус, в этом нет никаких сомнений, — сказал Гиацинтов. — Я старший адъютант военного агента и читал всю переписку по этому поводу. Никого из вас не исключили и не собираются исключать.

— На сегодня это, может быть и так. Но вот, допустим такое вполне вероятное положение: возвратились мы из санатории в корпус, а там через неделю снова застрелится какой-нибудь неврастеник. Свалят, конечно, на нас, — приехали, мол и опять взялись за старое! И поди, угадай, куда еще упекут нас после этого?

Действительно, всё случившееся с нами никак не располагало к оптимизму и позволяло ожидать в будущем новых сюрпризов, а потому я поддержал Лазаревича и сказал, что всем прелестям санаторской жизни тоже предпочёл бы возвращение в корпус и возможность его окончить. Гиацинтов немного подумал и сказал:

— Ну, ладно, всех вас избавить от санатории я не могу, ибо всё это уже, как говорится, решено и подписано в высших инстанциях. Но вас двоих постараюсь выручить. Всему "клубу" приём у военного агента назначен на десять часов утра, а мы с вами придем на час раньше и Бог даст всё устроится.

В девять часов мы были уже в приемной военного агента, генерала Потоцкого. Гиацинтов сейчас же вошел к нему в кабинет и оставался там довольно долго. Затем вызвали и нас. Задав нам несколько вопросов, генерал сказал:

— Я лично думаю, что вы ничем не рискуете, отправляясь в санаторию. Но если не хотите туда ехать, можете возвращаться в корпус. Директор получит предписание принять вас обратно и дать вам возможность окончить курс. За вас и за вашу непричастность к клубу самоубийц ручается полковник Гиацинтов, мне этого достаточно. Надеюсь, что вы, со своей стороны, не подведёте ни меня, ни своего бывшего боевого командира.

Через три дня мы были уже в корпусе и надо сказать, что Дед, — которому мы вручили запечатанный пакет, полученный от генерала Потоцкого, — встретил нас с довольно кислой миной, столь скорого нашего возвращения он явно не ожидал. Но дальше всё пошло нормально и несколько месяцев спустя, сдав выпускные экзамены, мы получили аттестаты.

Ничего не потеряли и остальные "самоубийцы". Проведя полтора месяца в санатории, они вернулись раздобревшие, загорелые и довольные, были взяты обратно в корпус и учебного года не пропустили, так что мы с Лазаревичем потом очень сожалели о своей излишней осторожности.

В следующие годы застрелилось еще несколько кадет, как в стенах корпуса, так и уже окончивших, — в числе последних мои друзья Костя Петров и Жорж Перекрестов. Но к тому времени наше начальство уже потеряло вкус к пинкертоновщине и никаких "клубов" к этим печальным явлениям больше не пристегивало.

ЧЕРНАЯ ДАМА

В составе первого выпуска Крымского корпуса находился подпоручик Хасанов, бывший кадет-псковичи, на войне произведенный в офицеры за боевые отличия, но не окончивший корпуса. В русские зарубежные гимназии таких недоучившихся офицеров принимали запросто, — в одной из них на амплуа гимназиста подвизался даже молодой подполковник, — но в кадетские корпуса путь им был закрыт[1]) и только лишь одному Хасанову сделали почему-то исключение. Его приняли в седьмой класс, правда, на несколько особом положении: он посещал уроки и сдавал экзамены вместе с нами, но жил не в роте, а в офицерском бараке и со своими одноклассниками общался мало, хотя, как офицер, пользовался среди них некоторым авторитетом.

И вот, однажды, раннею весной, когда леса́ вокруг нашего лагеря оделись свежей зеленью и приобрели особо-притягательную прелесть, четверо кадет семиклассников, удравших от скучного урока и мирно резавшихся в подкидного дурака под раскидистой елью, с удивлением увидели долговязого Хасанова, во всю прыть

---

[1]) Это, само по себе противоестественное положение, вызванное исключительными обстоятельствами, нетрудно понять: бывший офицер мог стать гимназистом, т. к. при этом он выходил из сферы военной субординации и временно обращался в штатского человека. Но поступить в кадетский корпус, т. е. оставаясь в военной орбите перейти на положение кадета и фактически сменить офицерские погоны на кадетские, он не мог — это выглядело бы, как разжалованье.

бегущего по тропинке к лагерю. Заметив кадет, он свернул со своего пути и тяжело плюхнулся возле них на траву.

— Что случилось? — с естественным любопытством спросил один из игроков.

— Случилось такое, что и рассказывать неохота, — не сразу ответил Хасанов, — потому что сам понимаю: вы мне едва ли поверите.

— Ну, а всё же?

— Форменная чертовщина и, что всего удивительнее, среди белого дня! Забрёл я, понимаете, довольно далеко в лес. В самом спокойном и благодушном настроении медленно иду по тропинке, среди зарослей; в руках у меня конспект по космографии, — поглядываю в него и зубрю на ходу мишкины[2]) орбиты и созвездия, только вдруг взглянул ненароком вперед и вижу: навстречу мне, еще довольно далеко, движется женщина в черном платье и под черной вуалью. Меня это почти не удивило, — мало ли в лагере всякого бабья, да и траур в наше время вещь вполне обычная. Иду спокойно вперед и разглядываю незнакомку. Фигура тонкая и стройная, только показалась она мне необычайно высокой. За травой и кустиками, которыми поросла дорожка, её ног я вначале не видел, но вот, когда между нами оставалось уже шагов двадцать, вдруг вижу, что ногами она земли не касается, а медленно летит над нею на высоте примерно полуаршина. Меня словно колом под сердце ударило. Упал я лицом в траву и, ни жив ни мёртв, пролежал так минут, должно быть, пять, а когда очухался и поднял голову, никого уже поблизости не было.

Хасанов был человеком серьезным и уравновешенным, трудно было заподозрить его в злостном вранье. Большинство кадет ему поверило, а через два-три дня об его приключении знал весь лагерь. Местных жителей — словенцев оно не удивило, — оказывается, "Чер-

---

2) Мишкой у нас прозывался полковник Михаил Михайлович Цареградский, преподававший в корпусе космографию.

ная Дама“ была им хорошо известна и они нам рассказали ее историю.

По их словам, лет сорок тому назад, жену местного магната — барона, замок которого находился в нескольких верстах от Стернища, — нашли в этом лесу зарезанной. Тайна этого преступления никогда не была раскрыта, но с той самой поры призрак убитой баронессы временами появляется в лесу, обычно днем, и почти всегда предвещает какое-нибудь несчастие. И действительно, не прошло и двух недель после видения Хасанова, как возле баронского замка вспыхнул страшный лесной пожар, на тушение которого были брошены все окрестные пожарные команды,две старшие роты нашего корпуса и первая сотня Донского.

Вся эта история вызвала в лагере множество пересудов и на долгое время приковала к себе всеобщее внимание. Кадеты крымцы и донцы начали усиленно охотиться за Черной Дамой, небольшими группами рыская по зарослям и глухим лесным тропам. Но призрак больше не появлялся. Правда, некоторые из младших кадет уверяли, что его видели, и в связи с этим сочиняли всевозможные небылицы, но, по мнению старших, всё это было порождено только мальчишеским воображением.

Однако, согласно известной коммерческой формуле, когда на что-либо возникает спрос, неизменно появляются и предложения. Так вышло и в данном случае.

Однажды вечером, готовясь идти с барышнями на очередную прогулку в лес, кто-то из нашей постоянной компании кадет семиклассников мечтательно промолвил:

— Вот было бы здорово, если бы нам, наконец, повстречалась сегодня Черная Дама! Воображаю, какой писк подняли бы девочки!

— И ты бы выступил в роли защитника и спасителя Фимочки, — отозвался другой.

— С нами будет не одна Фимочка. Сообразно этому, каждый мог бы должным образом проявить свое рыцарство, и по мере способностей воспользоваться создавшимся положением.

— Это отличная идея, ребята, — сказал я. — Когда будет совсем темно, выводите барышень в лес, а встреча с Черной Дамой вам обеспечена. Это я беру на себя.

Договорившись со мной о маршруте, вся компания отправилась в семейный барак, за барышнями, а я приступил к превращению себя в Черную Даму. Учитывая, что ночью она должна обращаться в белую, — иначе ее не будет видно, — я соорудил себе соответствующее одеяние из простыни, сверху накинул черную бурку и к десяти часам вечера был уже на условленном месте.

В лесу стояла жуткая тишина и мне невольно пришло в голову, что если сейчас появится настоящая Черная Дама, то встреча будет не особенно приятной, — как ни как, я дерзко посягал на ее прерогативы. От этих тревожных мыслей меня отвлекли звуки приближающихся голосов, а вскоре на просеке показалась и вся наша шатия. Я невидимкой двинулся навстречу и когда расстояние между нами сократилось шагов до десяти, внезапно распахнул бурку. Крики ужаса, истерический визг и суматоха, среди которой почти все барышни сразу оказались в объятиях у кадет, — свидетельствовали о том, что я старался не даром. Выдержав небольшую паузу, я сделал еще два бесшумных шага вперед, чтобы попасть в густую тень сосен, и снова завернувшись в бурку, мгновенно "исчез", как и подобает настоящему призраку.

Паника на дорожке постепенно улеглась и некоторые из кавалеров отважно бросились вперед, к тому месту, где я стоял.

— Мишка, получилось замечательно эффектно, — шепнул натолкнувшийся на меня Лазаревич, — продолжай и дальше в том же духе!

И я продолжал. Вторичное моё появление вызвало почти такую же реакцию, но при третьем уже почувствовалось, что наши дамы заподозрили истину. Ввиду этого, когда вся компания уселась на уютной полянке, я разыграл роль привидения в последний раз, а потом, во всем своем маскараде присоединился к остальным.

Было много смеха и мы очень весело провели вре-

мя до полуночи. Однако, эта памятная прогулка едва не закончилась для меня плачевно. Уже по пути домой, мы неожиданно услышали шум шагов и голоса на боковой тропинке. Не могло быть сомнений в том, что это другая гуляющая компания кадет, может быть тоже с барышнями, и я решил их мимоходом попугать. Но тут появление "призрака" произвело совершенно иной эффект.

— Ага, вот он, собачий сын! Лови его, ребята! Сейчас мы ему покажем, как людей морочить! — раздались голоса, и ко мне ринулось человек десять кадет донцов.

Отношения между нашими корпусами на первых порах были далеко не дружественными, — доходило даже до драк, — в основе этого лежали различие традиций и конечно, известное соперничество. Мигом сообразив, что в случае поимки мне основательно наломают ребра, я, не теряя времени, бросился наутёк. К счастью, нырнув в лесные заросли, мне, благодаря бурке и быстроте ног, довольно легко удалось уйти от преследованья и благополучно возвратиться домой.

СЛУЧАЙ НА КЛАДБИЩЕ

Весною 1921 года, после того, как в Крымском кадетском корпусе покончили с собой два кадета и начались разговоры о клубе самоубийц, — все помыслы обитателей лагеря сосредоточились на этих событиях и быстро увлекли их в область потустороннего мира.

Среди кадет появились спириты, которые, собираясь ночью в пустых бараках, вызывали духов и напропалую морочили друг друга; вечерами в темных углах обсуждали рассказы местных жителей о призраке Черной Дамы или наперебой вспоминали всевозможные таинственные истории и сверхъестественные случаи; некоторые, в поисках сильных ощущений, по ночам ходили на кладбище, словом, все ударились в мистику и в нашей первой роте она прочно овладела умами, а начальство своим выдуманным "клубом" и вылавливанием потенциальных самоубийц только подливало масла в огонь.

Но с другой стороны юность, окружающая нас ласковая природа и обилие в лагере хорошеньких барышень тоже были факторами большой мощности. Они располагали к влюбленности и ухаживанью, так что этой земной и реальной жизни, со всеми ее прелестями, мы, конечно, тоже отдавали должное.

Обычно по вечерам, после ужина, компания выпускных кадет более или менее постоянного состава, — человек пять-шесть, — наведя красоту и прихватив гитару и мандолину, заходила в семейный барак, там к ней присоединялось несколько барышень, а затем все вместе отправлялись бродить по лесным дорожкам и выбрав уютную полянку располагались на ней, хором

пели, и ухаживали за нашими дамами, изощряясь перед ними в остроумии или рассказывали им страшные истории, в духе переживаемых событий. Домой возвращались обыкновенно за полночь.

Однажды, вдоволь нагулявшись по лесу, все мы вышли к железной дороге и уселись на старой деревянной платформе, которая совершенно изолированно стояла, неизвестно для чего, за добрую версту от станции. Уже подходило к полуночи, светила полная луна, придавая лесным чащам таинственную жуть и разговор у нас зашел о потусторонних материях. Было рассказано немало историй с привидениями и мертвецами, поднимающимися из могил, а потом черт меня дернул за язык и я сказал:

— Ну, после такой настройки никто из вас наверняка не пошел бы сейчас на кладбище, если бы даже за это хорошо заплатили.

— А ты сам пошел бы? — с иронией спросил самый рассудительный член компании, Миша Трофимов.

— Да, по-правде говоря, и мне что-то не хочется, — ответил я.

— Ну, так нечего и других подзуживать, — резюмировал Трофимов. — Давайте-ка лучше споём что-нибудь душещипательное.

— Я пойду на кладбище! — неожиданно вызвалась Олечка Ревишина, именно та барышня, в которую я был пламенно влюблен.

Мы попытались обратить дело в шутку, а когда это не помогло, принялись отговаривать Олечку от ее рискованной затеи. Кладбище находилось далеко в лесу, от того места, где мы сидели, туда надо было идти километра два вдоль железной дороги, а потом еще с полкилометра по глухой лесной просеке. И если даже исключить всякую опасность со стороны нечистой силы, — по пути легко мог встретиться какой-нибудь бродяга или пьяный рабочий словенец. Все эти доводы мы пустили в ход, но ничто не действовало: Олечка стояла на своем, — пойду, да и только!

— Ну что ж, тогда идёмте вместе, — промолвил я, не без тайной радости, ибо тотчас сообразил, что по пу-

ти, да еще в такой исключительной обстановке, можно будет наедине славно полепетать с Олечкой, избавившись от моего соперника Юры Кодинца, который находился тут же.

— И не думайте! — решительно сказала она. — Я пойду одна, и предупреждаю: если замечу, что за мной кто-нибудь идет, с тем навсегда порву всякое знакомство.

Далее отважная дама моего сердца заявила, что в качестве вещественного доказательства оставит свой платочек на могиле нашего первого самоубийцы, Жени Белякова, и попросив нас ожидать ее тут, на платформе, зашагала по направлению к кладбищу.

— Видишь, что ты наделал, ишак! — напустились на меня все приятели, едва она отошла на некоторое расстояние. — Угораздило же тебя ляпнуть о кладбище! Разве можно допустить, чтобы девушка ночью топала туда одна! Мало ли что может случиться. Иди теперь сзади за ней!

Я бы охотно сделал это и сам, без всяких понуканий, но знал, что Оля слов на ветер не бросает и перспектива рассориться с ней пугала меня больше, чем все мертвецы, лежавшие на стернищенском кладбище. Вероятно по тем же соображениям не вызывался идти и Кодинец, конечно, понимавший, что если пойду я, то он на этом вдвойне выиграет. Мысленно всё это взвесив, я ответил:

— Мне нельзя идти, небось сами понимаете мое положение. Пусть идет Славка Ревишин, — с родным братом она-то уж не поссорится.

— А ты не видал, как лягушки скачут? — насмешливо отозвался трусоватый Ревишин. — Нет, брат, заварил кашу, так и расхлебывай ее сам, а меня уволь!

Делать нечего, пришлось идти мне. На Олечке было белое платье, я ее отлично видел, а сам, в гимнастерке защитного цвета, был совершенно незаметен в тени деревьев и потому, догнав ее, пошел сзади, на расстоянии двадцати шагов, по опушке леса окаймлявшего железную дорогу.

Ночь была ясна и прозрачна. Всё вокруг спало в

безмятежном спокойствии и двигались мы без всяких осложнений, — только в одном месте Оля внезапно остановилась и даже сделала шага три назад. Я хотел броситься к ней, но к счастью не успел этого сделать, т. к. она сразу же пошла дальше, а через две-три секунды и я увидел то, что ее испугало: это была белая крестьянская кляча, мирно щипавшая травку на опушке.

На довольно обширном кладбище, — в самом центре которого стояла часовня, — тянулись идеально выравненные шеренги одинаковых белых крестов, поставленных над могилами австрийских военнопленных, здесь окончивших свой жизненный путь.[1]) Оно было обнесено невысокой каменной стеной и его окружал дремучий лес, но на самом кладбище деревьев не было и всё оно, освещенное луной, было видно как на ладони. Когда Олечка вошла в ворота и двинулась по дорожке в самый дальний конец, где, в стороне от других, были похоронены наши самоубийцы, мне пришлось приотстать. Но едва она миновала часовню, которая скрыла меня от ее глаз, я быстро перебежал туда и сел на скамеечку, с теневой стороны часовни. Оттуда мне хорошо было видно, как Оля нашла могилу Белякова, наклонилась над нею, — очевидно клала платок, — затем несколько раз перекрестилась и пошла обратно.

И тут я решил ее все-таки окликнуть, исходя из таких соображений: свою задачу она блестяще выполнила, будучи уверенной, что идет одна, — таким образом слава ее ничуть не померкнет ни в собственных, ни в чужих глазах, если я теперь признаюсь, что следовал за ней, о чем она всё равно узнает от других. "Ну, посердится немного для приличия, а потом дело обойдется и назад пойдем вместе“, подумал я, и негромко сказал, когда она приблизилась к часовне:

— Олечка, не пугайтесь, это я.

Она вздрогнула от неожиданности, но сейчас же меня узнала и подошла к скамейке, на которой я сидел.

— Значит, вы все-таки увязались за мной, — про-

---

[1]) Судя по количеству могил, военнопленным жилось в этом лагере не сладко.

молвила она без особых признаков гнева. — Я же вас предупреждала...

— Олечка! — перебил я, — вы предупреждали, что поссоритесь с тем, кого заметите идущим за вами. Но меня вы не заметили. Я провел дело тонко и дал вам возможность выполнить свое неблагоразумное намерение, даже не подозревая, что сзади следует верный страж, всегда готовый за вас на подвиг и смерть. Так что подвергать меня опале у вас нет оснований.

— Из вас мог бы получиться незаурядный иезуит, — улыбнулась Олечка. — Ну, Бог с вами! Я, в конце концов, только себя хотела проверить и в этом вы мне действительно не помешали.

— Значит, мир?

— Мир.

— Ну, садитесь сюда, на скамеечку. Тут какой-то особый, благостный покой и совсем не страшно. Отдохнем немного и пойдем назад.

Олечка без возражений села рядом и у нас завязался оживленный разговор, который мы вели вполголоса, невольно поддаваясь обстановке. Я был вполне счастлив и потому не знаю сколько времени прошло до того момента, когда случайно взглянув в ту сторону, где находилась могила Белякова, я вдруг почувствовал, что у меня под фуражкой зашевелились волосы: там из земли медленно поднималась белая тень, принимая человеческие формы.

У меня все-таки хватило самообладания не выдать своего испуга. Этому способствовала промелькнувшая в мозгу трезво-эгоистическая мысль, что если Оля увидит то, что увидел я, она свободно может хлопнуться в обморок, бросить ее и бежать одному мне будет невозможно, а тут-то покойник на нас и насядет. Я еще раз покосился туда, в надежде, что это мне померещилось, но нет, — привидение медленно двигалось между могилами и находилось уже ближе к нам. Я поднялся со скамейки и став так, чтобы заслонить собой это жуткое зрелище от глаз моей спутницы, промолвил, стараясь говорить естественным тоном:

— Уже за полночь, пойдемте-ка, Олечка, назад. Ведь нас там ждут, на платформе.

Мои слова плохо вязались с тем, что я говорил всего за несколько минут до этого, уговаривая посидеть тут еще, а может быть меня выдал и голос, но Оля явно почувствовала неладное. Она сразу встала, посмотрела на меня с тревогой, но ни о чем не спросила. Я взял ее под руку и мы, выйдя на освещенную луной дорожку, довольно быстрым шагом направились к воротам. Я что-то бормотал, стараясь продолжать прерванный разговор, и боялся обернуться, чтобы не обернулась и она. Но пройдя шагов тридцать, Олечка сделала это сама, и затрепетав всем телом, вцепилась в мою руку. Я посмотрел назад и с ужасом увидел, что мертвец тоже вышел на дорожку и гонится за нами.

— Бежим! — крикнул я и мы во всю прыть бросились к выходу с кладбища. То-есть эта "прыть" была довольно относительной: будь я один, — развил бы такую скорость, что за мной не угнался бы никакой покойник, но Оля в своей узкой юбке, несмотря на весь испуг, семенила мелким трухом и я волей неволей должен был придерживаться ее аллюра.

Но так или иначе мы благополучно выскочили за ворота, промчались по просеке и только выбежав на железную дорогу и убедившись, что призрак нас больше не преследует, перешли на шаг.

— Какой ужас! Что бы это могло быть, как вы думаете, Миша? — приходя понемногу в себя, допытывалась Олечка.

— Не знаю что и думать. Говоря честно, до сегодняшнего дня я в привидения не верил, но теперь... Вы же сами видели.

— Слава Богу, что вы за мной пошли! Одна я бы наверное умерла со страху.

На платформе нас ожидала вся компания, уже несколько встревоженная нашим долгим отсутствием. Кодинец был явно не в духе и настроение его отнюдь не улучшилось, когда он увидел, что никакой ссоры между

мной и Олечкой не произошло. Мы без прикрас рассказали о своем приключении. Нам поверили не сразу, но когда наконец убедились, что мы говорим правду, было решено немедленно расследовать это дело. Ревишин пошел провожать барышень домой, а все остальные, вместе со мной, отправились на кладбище.

Придя туда, мы не вошли в ворота, а тихо двинулись с наружной стороны, вдоль ограды, к могилам наших самоубийц. Привидение оказалось тут как тут. Оно медленно переходило от могилы к могиле, то склоняясь к самой земле, то выпрямляясь и при этом что-то тихонько бормотало. Это последнее обстоятельство рассеяло все наши страхи и сомнения. Перепрыгнув в разных местах через стенку кладбища, мы дружно ринулись вперед и мгновение спустя смертельно перепуганный "покойник" был нами схвачен.

Он оказался личностью все нам хорошо известной: это был юродивый полудурачек, который жил в нашем лагере, всегда ходил в длинной, до колен, белой рубахе, без конца молился и был совершенно безобиден. Кажется, у него были родственники, которые вывезли его из Крыма, после чего какими-то судьбами он попал в Стернище.

— Какого черта ты шляешься ночью по кладбищу? — спросили мы у него.

— Тут же наши покойнички, — залепетал бедняга, тряся жиденькой, почти бесцветной бородёнкой. — Ну вот, я и пришел их проведать. Могилок-то много и возле каждой помолиться нужно, вот, значит и хожу...

— Чего же ты за нами погнался, когда мы тут вдвоем с барышней были? — полюбопытствовал я.

— Увидел, что вы испугались, ну и бежал за вами, чтобы сказать, что это я.

Что и говорить, поправил дело!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СЕРГИЕВСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ

1. В ВЕЛИКОМ ТЫРНОВО

Осенью 1921 года в Югославии состоялся первый выпуск кадет Крымского корпуса. Окончивших и получивших аттестаты было 83 человека. Из них около сорока наиболее благоразумных поступили в различные высшие учебные заведения страны, человек двадцать устроилось на работу, в пограничную стражу и т. п., а остальные желали продолжать военное образование и идти в русские военные училища.

Таковых эвакуировалось из Крыма восемь: Николаевское инженерное, Сергиевское артиллерийское, Николаевское кавалерийское, Константиновское, Александровское и Корниловское пехотные, Атаманское донское и Алексеевское кубанское, — последнее со всеми четырьмя "факультетами". Все они из Галлиполи были перевезены в Болгарию, за исключением Николаевского кавалерийского, которое попало в Югославию, в город Белую Церковь. Из нашего выпуска в него поступило человек пятнадцать, а шестеро, в числе которых был и я, решили ехать в Болгарию, в Сергиевское артиллерийское.

Оно находилось в древней столице, городе Великий Тырново. По Версальскому договору, побежденная Болгария должна была сократить свою постоянную армию до 20 000 человек,[1]) таким образом в стране пу-

[1]) Постепенно Болгария «контрабандой» увеличивала это число. В описываемое мною время усиленно формировались, например, так называемое трудовые дружины («трудоваки»), которые имели чисто военный уклад и помаленьку превращались в воинские части.

ствовало много военных казарм, большинство которых было предоставлено частям нашей Белой армии. Кроме Сергиевского артиллерийского училища, в Великом Тырново были размещены Офицерская гимнастическая и фехтовальная школа, штаб Первого армейского корпуса, конвой генерала Кутепова и какой-то саперный или технический батальон. Все казармы находились в непосредственной близости друг от друга и только одна из них была занята стоящим здесь болгарским пехотным полком.

В то время преодолеть югославско-болгарскую границу было довольно трудно, особенно бесподданному и беспаспортному человеку. Пятерым моим однокашникам посчастливилось: в штабе Главнокомандующего случилась оказия отправить их в Болгарию под видом служебной командировки, а мне Державная Комиссия почему-то задержала выдачу денег[2]) и я эту возможность упустил. Другой в ближайшем будущем не предвиделось и, чтобы не потерять учебного года, начальство мне предложило поступить пока в Николаевское Кавалерийское Училище, с тем что позже, когда появится возможность, меня переведут в Сергиевское. Я так и сделал. Но в дальнейшем положение с переездом лишь ухудшилось, и наконец мне прямо сказали, что на перевод я больше не могу рассчитывать.

В моем роду спокон веков все были артиллеристами и потому, не желая отступить от семейной традиции, я пошел "ва-банк": отчислился от Николаевского училища, с одним казаком кубанцем, — которому тоже нужно было попасть в Болгарию, — перебрался через границу "по русскому способу" и благополучно прибыл в город Великий Тырново.

В силу всех этих событий, в Сергиевское Артиллерийское Училище я явился с трехмесячным опозданием и тут мне сразу заявили, что принять меня уже не мо-

---

[2]) В силу существовавших положений, при отъезде мы имели право получить за три месяца беженское пособие, из рассчета 240 динар в месяц. Но без соответствующих знакомств и связей, этого нелегко было добиться.

гут. Но артиллерийская вежливость всё же побудила начальника училища взглянуть на мой корпусный аттестат и дело приняло более благоприятный оборот: генерал сразу подобрел и сказал, что мог бы сделать для меня исключение, если разрешит генерал Кутепов, к которому посоветовал мне сейчас же отправиться, благо его штаб помещался во втором этаже той же казармы.

Вкусы и требованья Кутепова я хорошо знал по армии, а потому представился ему отчетливо, в самом подтянутом виде и кажется произвел хорошее впечатление. Генерал задал мне два-три вопроса и видимо удовлетворившись полученными ответами, потребовал мой аттестат. С соблюдением всех правил устава, я сделал два шага вперед, положил его на стол и замер в положении "смирно".

Просмотрев аттестат, Кутепов перевел взгляд на мои кадетские погоны.

— Удивительно, — сказал он: — аттестат замечательный, круглые двенадцать баллов, к тому же Георгиевский кавалер, а на погонах нет даже вице унтер-офицерских нашивок! Легко могу себе представить, каково было ваше поведение в корпусе!

Я скромно потупил глазки. В сущности, мое поведение в корпусе вовсе не было исключительно скверным, но так уж у нашего начальства повелось, что при всех "бенефисах" и общих проказах зачинщиком и козлом отпущения неизменно оказывался я. Сверх того, я не пользовался расположением директора, а получение нашивок всецело зависело от него.

— Впрочем, — продолжал Кутепов, — из таких архаровцев нередко получаются отличные боевые офицеры. В училище будете приняты и не сомневаюсь, что быстро наверстаете пропущенное в занятиях. А за вашим поведением я буду следить особо, — добавил он и размашистым почерком написал на полях моего аттестата: "разрешаю принять".

В САУ, как в обиходе называли наше училище, было в то время три курса юнкеров, в общей сложности человек триста, разбитых на две батареи. Юнкера имели вид подтянутый, одеты были хорошо и однообразно: бе-

лые гимнастерки, черные брюки, высокие сапоги со шпорами и артиллерийские бескозырки. У всех были винтовки и шашки, кроме того, из Галлиполи с собою было привезено десятка полтора пулеметов различных систем и отдельные части русской трехдюймовой пушки, для учебных занятий. В город все выходили в форме, с погонами, и даже совершали строем военные прогулки, при винтовках и с училищным духовым оркестром. Точно так же первое время обстояло дело и в других русских военных училищах, расквартированных по различным городам страны.

Болгары в массе относились к нам доброжелательно и на первых порах мы чувствовали себя почти как дома. Но такое положение длилось недолго: ко власти пришло весьма левое правительство Стамболийского, которое вскоре установило с Советским Союзом дипломатические, а потом и дружественные отношения. В Софии обосновалась какая-то советская комиссия, во главе с матросом Чайкиным, который быстро приобрел в стране исключительное влияние и стал открыто вмешиваться во внутрение дела. Многие правые деятели были арестованы или бежали заграницу, фактически под домашним арестом находился и царь Борис, которому порекомендовали ни во что не вмешиваться и не выходить из своего дворца. Болгария явно вступила на путь, ведущий к коммунизму.

Разумеется, тридцатитысячная Белая армия, расквартированная целыми частями по всей стране, закаленная в боях и сохранившая всё свое оружие, кроме пушек, на пути у Чайкина и Стамболийского была не только камнем преткновения, но и грозной опасностью: в почти разоружённой Болгарии в ту пору она была главной силой, опираясь на которую болгарские монархисты могли произвести правый переворот, что год спустя и случилось. Несомненно, об этом уже и тогда велись какие-то тайные переговоры, о чем правительство Стамболийского, надо полагать, знало или догадывалось, и потому решило нас исподволь и насколько возможно обезвредить.

Началось с того, что начальник тырновского гар-

низона, ссылаясь на распоряжение, полученное из Софии, предложил нам сдать всё имеющееся у нас огнестрельное оружие. Сверх полного комплекта, у нас было что-то около тридцати винтовок, которые мы безропотно сдали, прибавив к ним два поломанных пулемета. Относительно патронов наше начальство заявило, что у нас их отобрали французы еще в Галлиполи, и что винтовки нам тут служили только для упражнения в ружейных приемах.

Ничему этому болгары, конечно, не поверили, ибо неоднократно видели, как весь наш дивизион маршировал по городу с винтовками. Но именно потому, что почти всё оружие у нас осталось и они это знали, — обыска производить не рискнули и сделали вид, что удовлетворены. Мы же, не теряя времени, спрятали под полом нашей казармы остальные триста винтовок, патроны и десять пулеметов, а четыре, которые в этот тайник не поместились, отнесли в лазарет и забросали какимто тряпьем. Как мы узнали позже, приблизительно так же прошло "разоружение" наших частей в других городах Болгарии. В некоторых местах начальники болгарских гарнизонов, не сочувствовавшие правительству Стамболийского, сами втихомолку советовали командирам русских частей сдать только то, что похуже, а остальное оружие припрятать.

Однако, начальник тырновского гарнизона был из левых и в отношении нас начал применять систему всё усиливающихся провокаций. В городе произошло несколько случаев ареста отпускных юнкеров, болгарские солдаты стали грубить русским офицерам, а вскоре дошло и до более серьезного инцидента.

Как-то часов в одиннадцать вечера, когда несколько юнкеров мылись возле родника, который находился на склоне горы, шагах в ста от нашей казармы, туда подошел болгарский патруль и в грубой форме потребовал, чтобы они удалились. Это был явный произвол, — родник находился в нашем расположении, — а потому возник спор, вскоре перешедший в громкую перебранку. Дело происходило летом, — спасаясь от одолевавших в казарме клопов, многие юнкера спали снаружи, под

деревьями. Человек пятнадцать, услышав крики, выскочили из постелей и как были, в нижнем белье, побежали к роднику. Подпустив нас на несколько шагов, патруль без всякого предупреждения открыл огонь из винтовок, в результате чего юнкер моего отделения Лобода был убит наповал, а шестеро ранены, — один из них, юнкер Бетхер, очень тяжело, он больше года пролежал в госпитале и выжил буквально чудом. Стреляли подло, с очевидным рассчетом убить, — все ранения были в головы. Потрясенные и возмущенные юнкера хотели достать винтовки и расплатиться за кровь своих товарищей, но училищные офицеры этому категорически воспротивились.

Видя что русские этим происшествием чрезвычайно возбуждены, начальник гарнизона на следующий день официально выразил свои крайние сожаления и обещал предать виновных военному суду, но, как мы позже узнали, их просто перевели в другой полк.

Занятия в училище шли, между тем, своим чередом. Программа была трудная, мы проходили не ускоренный, а нормальный, трехгодичный курс артиллерийских училищ, требующий серьезного изучения всех разделов высшей математики в солидном объеме. Преподавательский состав в САУ стоял на исключительной высоте, достаточно сказать, что среди наших лекторов было восемь военных академиков. Но учебных пособий почти не было, — всё приходилось записывать на лекциях. Шесть часов в день уходило у юнкера на классные и строевые занятия, кроме того, еженедельно сдавалась какая-нибудь репетиция, т. е. частичный экзамен по пройденному курсу, к которому готовились по вечерам, нередко засиживаясь в аудиториях до глубокой ночи.

В августе юнкера старшего курса были произведены в подпоручики и разобрав вакансии, разъехались по своим частям, а мы перешли на средний. Нового приема в училище не было, т. к. казна Главного Командования была почти истощена и средств едва могло хватить для того, чтобы закончить обучение и выпустить офицерами тех, кто уже был принят. Таким образом, моему курсу суждено было стать в САУ последним.

Я полностью оправдал ожидания генерала Кутепова, быстро нагнал пропущенное и к концу учебного года, как по учению, так и по строевым занятиям вышел в первые ряды. В это время курсовой офицер моего отделения, капитан Костецкий, покинул службу и отправился в Чехию, с намерением поступить в горную академию. Перед отъездом он мне доверительно сообщил, что с переходом на старший курс намечал меня в фельдфебели, и рекомендовал впредь не уронить свою марку. Но увы, не минуло и недели после этого разговора, как марка моя безнадежно обанкротилась. Вместо Костецкого, к нам должны были назначить одного из курсовых офицеров, освободившихся после выпуска старшего курса, — это были милейший и всеми любимый полковник Георгиевский и капитан Коренев, крайне несимпатичный, злопамятный и желчный человек, прозывавшийся у нас Черепахой, — такое прозвище он получил в Галлиполи, где прославился, как виртуоз по ловле и поеданию черепах. Я одним из первых узнал, что назначен к нам именно он, и влетев на переменке в нашу казарменную уборную, где в то время курило несколько юнкеров моего отделения, с ходу выпалил:

— Ну, братцы, беда: дали нам в курсовики проклятую Черепаху!

В это мгновение дверь офицерского "купэ" отворилась и оттуда, подтягивая пояс, появился капитан Коренев. Он сделал вид, что моих слов не слышал, но после этого меня возненавидел, придирался нещадно и вместо фельдфебельства почти до самого производства продержал меня в третьем разряде.

2. ВЫНУЖДЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Вскоре болгары решили взяться за нас всерьез. Толкнула ли их на это только политическая солидарность с товарищем Чайкиным или имелись более серьезные основания, сказать не берусь, — мы, юнкера, во всяком случае ничего не знали. Но вполне возможно, что основания были, и что в Болгарии уже созрел заговор для свержения правительства Стамболийского, к чему, по всей вероятности, было причастно и наше командованье. И это, конечно, была не авантюра, а вынужденная самозащита: в случае дальнейшего усиления советских влияний, всем нам грозила выдача.

Так или иначе, но во второй половине августа внезапно были высланы в Югославию генерал Кутепов, его начальник штаба генерал Штейфон и еще несколько русских генералов, а вслед за этим, тоже, повидимому, в вынужденном порядке, туда отправился и весь штаб нашего армейского корпуса. Училищное начальство пыталось всё это объяснить юнкерам распоряжениями, яко бы полученными из штаба генерала Врангеля, но мы понимали, что это говорится только для нашего успокоения, а в действительности дело обстоит гораздо хуже. Тем не менее все сохраняли полное спокойствие и жизнь училища продолжала идти нормально.

Прошло еще несколько тревожных дней и однажды поздней ночью, когда все юнкера мирно спали, нашу казарму, с соблюдением полной тишины, окружил болгарский полк. Этот маневр значительно облегчался тем, что к казарме со всех сторон близко подступали заросли кустов и деревьев, а наружные часовые у нас к это-

му времени были отменены: после "разоружения" выставлять напоказ юнкеров с винтовками было невозможно, а ставить безоружных часовых, по мнению начальства, не имело смысла.

Только завершив оцепление и установив против всех дверей и окон пулемёты, "братушки" отважились войти в казарму. Насколько рискованной представлялась им предпринятая операция, видно хотя бы из следующего: когда первый болгарский солдат, с винтовкой в руках, показался в дверях нашей спальни и увидевший его дневальный во всё горло рявкнул "тревога!" — храбрый вояка выронил винтовку и без чувств упал на руки следовавших за ним товарищей.

После этой заминки, солдаты ворвались внутрь. Никакого сопротивления раздетые и безоружные юнкера оказать, конечно, не могли и не пытались. Всем нам приказано было одеться и выйти на переднюю линейку, вслед за чем в казарме начался обыск. Производили его солдаты и жандармы, под руководством нескольких офицеров, но при них находился и какой-то тип в штатском, — как после выяснилось, это был сам товарищ Чайкин. Он суетился и всюду совал свой нос, но ни с кем из русских не заговаривал; болгарские офицеры держали себя сухо, но вежливо, а один, отлично говоривший по-русски, был даже любезен и вид имел явно смущенный, — очевидно учился в России и в душе нам сочувствовал.

Искали, конечно, оружие. Обшарили всё, в некоторых местах даже поднимали половицы, но ничего не нашли, — наш арсенал был надежно укрыт и находился под полом училищной канцелярии, которая не внушала обыскивающим особых подозрений и ее осмотрели лишь поверхностно. Затем направились в лазарет. Увидев в углу палаты кучу грязного белья, под которой покоились четыре станковые пулемета, один из болгарских офицеров спросил:

— А там у вас, что такое?

— Матрасы и белье тифозно-больных юнкеров, — не сморгнув глазом ответил наш командир дивизиона, полковник Грибовский. — Хотели это продезинфекци-

ровать, да нечем, придется видимо сжечь, во избежание заразы.

Офицер отскочил от кучи, как ошпаренный и хотя Чайкин ему что-то зашептал на ухо, болгары из лазарета очень быстро ретировались.

После обыска были арестованы все наши офицеры, начиная с начальника училища. Их увели в город, а юнкерам, за исключением лазаретных больных, было приказано войти в казарму, уложить в ранцы свое обмундирование и личные вещи, а затем построиться на передней линейке. Кроме этого, из хозяйственной части разрешили взять несколько ящиков консервов и дневную выпечку хлеба, после чего всех под усиленным конвоем отвели на вокзал. Там уже стояли два готовых железнодорожных состава из вагонов-теплушек, в которые нас без всяких околичностей погрузили и немедленно отправили, — первый эшелон в одном направлении, а второй в другом.

К вечеру того же дня в третий состав погрузили хозяйственную часть, все училищное имущество, лазарет и нестроевую команду. Так как эти небоеспособные остатки училища особых опасений болгарам не внушали и строгого наблюдения за ними не было, — лазаретному персоналу удалось до отъезда упрятать под пол оставшиеся там пулемёты. Когда полностью была закончена погрузка, этот третий эшелон тоже был отправлен из Великого Тырново в неизвестность. Мы, во всяком случае, не имели ни малейшего представления куда нас везут и чем всё это кончится. Сопровождавшие нас конвойные команды знали, видимо, немногим больше нашего. Никого из русского начальства с нами не было, — старшим первого эшелона, в котором находился я, оказался молоденький подпоручик Пенчо, единственный офицер избежавший ареста; второй эшелон возглавлял наш священник, отец Феодор Миляновский, а третий — кто-то из врачей.

Было ясно, что вся эта операция проделана болгарами главным образом для того, чтобы нас действительно обезоружить. Хотя нашего оружия они и не нашли, но теперь могли быть уверены в том, что с нами

его нет и что в дальнейшем мы им никак не сможем воспользоваться.

С долгими простоями на попутных станциях, нас около двух недель возили по всей стране, очевидно еще не решив, что с нами делать или, что более вероятно, — не желая поставить нас на твердую почву пока правительство не убедится, что какая-либо опасность для него миновала. Каждый наш эшелон двигался самостоятельно и в нем ничего не знали о маршруте и о судьбе двух других. Кормить нас братушки тоже считали излишней роскошью, но к счастью училищный казначей, полковник Берегов, тоже арестованный, успел разделить содержимое денежного ящика между старшими трех эшелонов, что позволило покупать в пути кое-какую еду. Среди юнкеров, видавших и не такие виды, никакого уныния не наблюдалось, ехали весело, с песнями и не отказывали себе в удовольствии позубоскалить над нашими конвоирами, которые, впрочем, вели себя добродушно и нам не докучали.

Таскали нас сначала по Северной Болгарии, потом перевезли через Балканский хребет, в Южную. Около середины сентября мы попали в небольшой городок Новую Загору, где, как нам было известно, стояло Николаевское Инженерное Училище. Наш эшелон, по обыкновению, надолго поставили на запасный путь и очень скоро к нему подошла группа юнкеров николаевцев. От них мы узнали, что накануне через Новую Загору проехали наши сергиевские офицеры, которых в Великом Тырново освободили из под ареста и предписали им ехать в город Тырново-Сеймен, находившийся в двух часах езды от Новой Загоры, недалеко от греческой границы. Из этого можно было заключить, что и нас решили направить туда.

Действительно, на следующий день все три наши эшелона, один за другим прибыли в этот захолустный городишко, стоявший на берегу реки Марицы. Все наши офицеры были уже здесь, за исключением трех старших: начальника училища генерала Казьмина, командира дивизиона полковника Грибовского и инспектора

классов полковника Безака, — их выслали в Югославию. Впрочем, последнему вскоре удалось оттуда возвратиться и он вступил в должность начальника училища.

В Тырново-Сеймене, на возвышенной окраине города[1]) стояла казарма какого то расформированного после войны пехотного батальона. По прибытии в Болгарию русских частей, эта казарма была предоставлена Алексеевскому Кубанскому Военному Училищу, которое незадолго до нашего приезда дало свой последний выпуск и занятия прекратило. За оставшимся здесь довольно многочисленным кадром училища и несколькими десятками молодых офицеров, которые работали в этом районе, сохранилась половина казармы, а во вторую ее половину водворили нас, сергиевцев.

Со своими новыми соседями кубанцами мы быстро обзнакомились, а позже и крепко сдружились. От них мы узнали, что гонения, обрушившиеся на русские воинские части, тут проявились в наиболее мягкой, вернее даже в символической форме. В этом земледельческом и удаленном от крупных центров районе, вся полнота власти фактически принадлежала полковнику Златеву, командиру шестого болгарского кавалерийского полка, который стоял в соседнем городке Харманли, в десяти километрах от нас. Златев окончил в России кадетский корпус, военное училище и Академию Генерального Штаба, по духу это был вполне наш человек, — русских он любил, а правительству Стамболийского ни в коей мере не сочувствовал. Поэтому, получив из Софии приказ разоружить кубанцев, он исполнил его в такой форме: отобранное оружие было сложено в каменный сарай, стоявший тут же, на казарменном дворе; Златев запер его на замок, от которого один ключ взял себе, а другой негласно вручил начальнику Кубанского училища, молодому и боевому генералу Лебедеву. Для соблюдения внешних приличий, в боковой комнатушке этого сарая был поселен болгарский стражник, яко бы

---

[1]) По существу это были два слившиеся вместе села, — Тырново и Сеймен. Первое было покрупнее и обратилось в городской центр, а второе — в окраину, сохранившую вполне сельский облик.

охранявший склад от каких-либо посягательств со стороны обитателей казармы. Разумеется, при таком положении вещей воспользоваться этим оружием, в случае надобности, можно было в любой момент и кубанцы нас поспешили заверить, что его там с избытком хватит и на всех нас.

С полковником Златевым и с офицерами его полка, — из которых добрая половина тоже получила образование в русских военно-учебных заведениях, — кубанцы поддерживали дружескую связь, в которую вскоре после приезда включились и мы. Златев и некоторые его офицеры неизменно присутствовали на всех наших больших праздниках и в свою очередь нередко приглашали к себе генерала Лебедева и русских офицеров, принимая их с полным радушием. Юнкерам Кубанского училища Златев, для сменной езды, предоставлял своих полковых лошадей, а позже, когда мы, юнкера-сергиевцы, окончили курс и стали устраиваться на заработки, несколько наших музыкантов были приняты вольнонаёмными в духовой оркестр этого полка, причем все сразу же получали чин вахмистра (максимально для этой категории доступный) и приличное жалованье, живя на всем готовом.

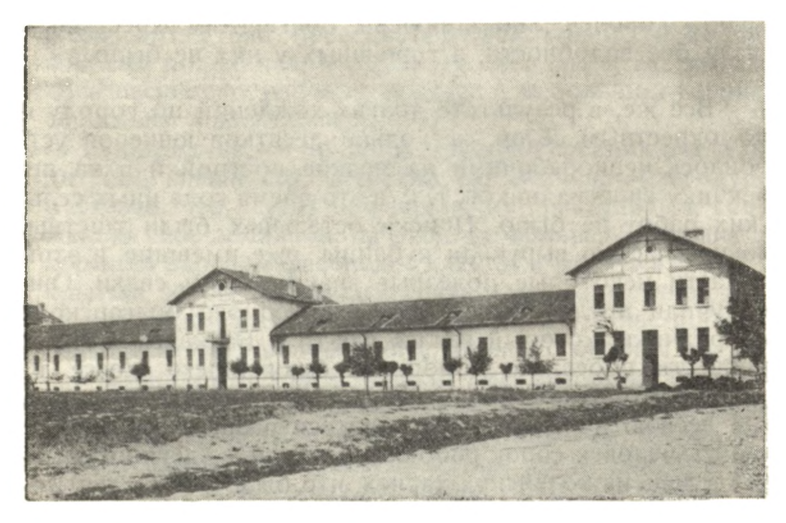
Вобщем, под покровительством полковника Златева, — о котором каждый из нас сохранил самую светлую память, — все мы чувствовали себя как за каменной стеной и жили в Тырново-Сеймене совершенно нормальной военно-казарменной жизнью. И еще несколько лет, пока находились там, совершенно свободно разгуливали в офицерской форме, с погонами, ношение которых в других городах Болгарии было русским давно запрещено.

3. ТРУДОВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Через три дня по приезде, мы уже устроились на новосельи и приступили к продолжению занятий. Но наш вынужденный переезд и все связанные с ним непредвиденные события весьма ощутительно отразились на скромном бюджете Училища, а на получение каких-либо дополнительных сумм из опустевшей армейской казны не было никакой надежды. Чтобы выправить положение, наше училищное начальство решило с 15-го октября на полтора месяца сделать перерыв в занятиях и распустить юнкеров на заработки.

Нас это известие нисколько не огорчило, а скорее обрадовало. Мы сидели без денег, у большинства юнкеров их не было даже на курево и для того, чтобы приобрести хоть малую толику на мелкие расходы, оставался только "загон" того или иного предмета казенного обмундирования. Но это было связанно с изрядным риском и трудностями, т. к. несколько раз в год и притом неожиданно, производились так называемые проверки арматуры, т. е. всех казенных вещей, числившихся за юнкером. Таким образом, чтобы продать новую пару полученного белья, фуфайку или одеяло, надо было заранее раздобыть какую-нибудь подходящую рвань, чтобы представить ее при очередной проверке, с ангельским видом уверяя начальство, что вещь износилась. И это далеко не всегда проходило гладко.

В силу такого положения, этот вынужденный перерыв в занятиях, открывающий возможность что-то подработать, был в наших интересах, а физического труда никто не боялся: все уже знали, что в недалеком буду-



Казарма САУ в Тырново-Сеймене.

щем, — по окончании училища, — он должен стать нашим жизненным уделом, во всяком случае на первое время, и тут как раз можно было получить к этому некоторую подготовку. Но дело осложнялось тем, что каждый должен был сам найти себе работу, а по близости не было никаких фабрик или крупных предприятий и мы могли рассчитывать почти исключительно на сельский труд. На этом поприще отыскать себе какое-нибудь применение, не умея обращаться с крестьянами и говоря с ними коверканным на болгарский лад русским языком, было не так легко. Особенно досаждал неизменно задаваемый каждому вопрос: "а что ты умеешь делать?" Наиболее честные признавались, что в этой области они новички, другие придерживались иной системы и уверяли, что умеют делать всё потребное в хозяйстве. Селяк давал такому энциклопедисту лопату или вилы и быстро убеждался, что он их никогда в руках не держал. Один поклонник Вертинского на этот вступительный вопрос гордо ответил: "я могу из горничных

делать королев“, но королевы болгарским крестьянам были без надобности, а горничных у них не было.

Всё же, в результате долгих хождений по городу и по окрестным сёлам, несколько десятков юнкеров устроилось чернорабочими на мелкие постройки и на перекопку виноградников, т. к. в это время года иных сельских работ не было. Поиски остальных были тщетны, но по счастью выручили кубанцы, уже имевшие в этой области некоторые полезные знакомства и связи. Они получили предложение работы от одного болгарского подрядчика, который взялся где-то в Балканских горах провести проезжую дорогу от ближайшего шоссе до только что открытого месторождения каменного угля, где весною должны были начаться разработки. Требовалось человек сорок рабочих; условия — девяносто левов в день на хозяйских харчах, что было совсем не плохо, — на постройках платили не больше семидесяти и харчи свои. Жить предстояло в землянках, которые самим надо было сделать, в счет работы.

Безработных кубанцев было в казарме человек пятнадцать, остальные вакансии предложили нам. В числе записавшихся находился и я. На следующее утро весь наш отряд, сняв погоны, облачившись во всё самое старое и, кроме шинелей, прихватив с собою по одеялу, тронулся в путь.

Часов шесть мы ехали поездом, до какой-то маленькой станции, находившейся уже довольно высоко в горах. Там нас встретил болгарин, наш будущий надзиратель, и по хорошему шоссе в два приема перевёз на грузовике километров за двадцать от этой станции, высадив среди гор, на крутом повороте, откуда должна была начинаться новая дорога. Но по каким-то неведомым нам соображениям, ее начали не от шоссе, а от будущего рудника, куда нам предстояло пройти еще пятнадцать километров пешком. Еле приметная тропинка вела совершенно дикой местностью, по склонам лесистых гор, извиваясь меж скал и крутых обрывов, Изрядно уставшие, к вечеру мы добрались до небольшой поляны, со всех сторон сдавленной надвинувшимися вплотную го-

рами. Тут стоял бревенчатый домик-изба, в котором жил сам подрядчик, а возле него землянка, где помещалось несколько рабочих болгар, и небольшой сарайчик со всяким инвентарем.

Подрядчик, — крупный мужчина средних лет и бандитской внешности, встретил нас величаво-благодушно и сказал, что с утра нам надлежит приступить к сооружению себе землянок, на этой же поляне. Затем нас накормили вареной фасолью с хлебом и мы тут же, под открытым небом завалились спать. Осенью на такой высоте ночи были уже очень холодными и это нас побудило взяться за устройство своих жилищ с особым рвением.

Смастерить три землянки, вместимостью на четырнадцать человек каждая, оказалось делом нетрудным. По войне и по всем прошлым передрягам такого рода строительство большинству из нас было знакомо, кроме того среди молодых кубанских офицеров нашлись два сапера, — под их руководством мы быстро справились с этой задачей и третью ночь спали уже под кровом. Насчет довольствия договорились с подрядчиком, что он будет выдавать нам продукты, — которые привозились откуда-то издалека, на вьючных ослах, а готовить на всех еду будет один из наших, получая такой же оклад, как и все остальные.

Работа заключалась в том, чтобы по склонам гор и по дну ущелий выравнивать промеченную надзирателем полосу дороги, ширины достаточной для проезда конной повозки или автомобиля. Для этого надо было вырубать мешавшие деревья и корчевать пни, потом, действуя кирками и лопатами, срезать склон, а местами, наоборот, — подсыпать камни и землю, чтобы получить ровное полотно дороги.

Две недели мы проработали без каких либо происшествий и в полной отрезанности от внешнего мира (радио тогда еще не было). Наконец наступил день первой получки, — подрядчик об этом, казалось, забыл, а когда мы напомнили, сказал, что денег из Софии ему еще не прислали и нам придется немного подождать. После долгих препирательств, он все же выдал нам по четыреста левов в счет причитавшихся тысячи двухсот

и мы продолжали работу. Но тут сразу пошли холодные осенние дожди и нам пришлось бо́льшую часть времени проводить не на работе, а в своих землянках, возле устроенных там импровизированных и невероятно дымивших очагов. Настроение публики падало с каждым днем и когда начались громкие разговоры о том, что следует бросить эту работу и уходить, подрядчик, чтобы поддать нам бодрости и оптимизма, уплатил всё недоданное за первые две недели. Этим немедленно воспользовались кубанцы, которые сложили свои монатки и презрев все уговоры и ругань подрядчика, отправились домой. Они советовали и нам сделать то же самое, пока еще можно унести отсюда ноги, но мы, зная что пайка в училище не получим до первого декабря, решили остаться еще на две недели, исходя из тех соображений, что если даже ничего не заработаем, то во всяком случае тут нам обеспечена бесплатная кормежка.

Однако, в этом мы жестоко просчитались: не минуло и недели, как пошел снег не прекращавшийся несколько дней, вокруг наших землянок его навалило по-пояс. О продолжении работы нечего было и думать, доставка продуктов тоже прекратилась и нам стали выдавать одну фасоль, и то в уменьшенном количестве. Когда мы спросили у подрядчика — что он думает о создавшемся положении, тот заявил, что работу придется надолго прервать, кормить он нас тоже больше не может, но никого отсюда не гонит, а если нам здесь не нравится, мы можем убираться восвояси. На это мы ответили, что предпочитаем последнее и потребовали рассчета за несколько проработанных и еще не оплаченных дней. Болгарин плотоядно улыбнулся и сказал:

— Вы, "руснаци", меня еще не знаете, так я вам кое-что расскажу о себе: я человек очень нервный и если рассержусь, способен натворить такого, что после и сам не рад. Был, например, случай когда меня ночью до того извели клопы, что я выскочил из постели и спалил весь дом. Советую вам иметь это ввиду и зря меня не раздражать.

Мы было загалдели, но "нервный" братушка вытащил внушительных размеров револьвер, а сзади как из-

под земли выросли два его помощника, с карабинами в руках. Перед такими аргументами нам, безоружным, пришлось спасовать и мы, не солоно хлебавши, отправились в свои землянки.

Надо было на рассвете следующего дня уходить, т. к. вечером мы сварили последнюю фасоль и ничего съедобного у нас больше не было. Путь предстоял трудный и опасный: через дикие горы и ущелья, по снежным завалам совершенно скрывшим тропинку и до полной неузнаваемости изменившим местность, нужно было пройти пятнадцать километров, на каждом шагу рискуя сорваться в какую-нибудь запорошенную снегом расщелину или безнадежно заблудиться в хаосе гор. В довершение всех несчастий, вечером юнкер Липкин, окоченевшими от холода руками рубивший дрова, промахнулся топором и сильно поранил себе ногу. С большим трудом мы остановили кровотечение и перевязали ему рану. Утром, сколько он ни старался, надеть на эту ногу сапог оказалось невозможным, пришлось обмотать ее всяким тряпьем и мешками, превратив ступною в огромный, бесформенный пакет. В таком виде, опираясь на палку, Липкин попытался идти, но та его нога, которая была в сапоге, по колено погружалась в снег, а другая, обмотанная, оставалась на его поверхности. Покинуть товарища на попечение симпатичных братушек мы не рискнули и соорудив из жердей и одеял носилки, всю дорогу по-очереди несли его на руках.

Этот суворовский путь через горные трущобы, по рыхлому снегу, местами доходившему нам до пояса, был долог и исключительно богат впечатлениями. Шли гуськом. Труднее всего приходилось переднему, поэтому его часто сменяли и насколько возможно страховали, особенно после того, как один из таких ведущих внезапно провалился в глубокую яму, откуда мы его не без труда вытащили, к счастью невредимым. Не раз вываливался из носилок несчастный Липкин. Только к вечеру мы, голодные как волки и обессиленные добрались до шоссе. А оттуда было еще двадцать верст до железнодорожней станции.

Около часу мы просидели там отдыхая и надеясь увидеть какой-нибудь проходящий автомобиль или телегу, куда можно было бы пристроить хоть раненного Липкина. Но никакого движения по шоссе в эту пору не было. Только один проезжавший верхом на ишаке крестьянин на наш вопрос — нет ли поблизости какого-нибудь жилья, где бы можно было достать хоть хлеба и нанять телегу, — ответил, что ближайшая деревенька находится верст за шесть оттуда, в стороне от шоссе, и объяснил, где с него надо свернуть на проселочную дорогу, ведущую к этой деревне.

После недолгих дебатов порешили на том, что двое, по жребию, отправятся туда, купят для всех хлеба и брынзы, наймут телегу и возвратятся на ней к остальным, которые будут ждать на этом же месте.

Жребий идти выпал мне и юнкеру Куреному. Когда мы добрались до поворота на просёлок, почти совсем стемнело. Мы сбились с пути и двигаясь впотьмах неведомо куда, по колени в снегу, уже мечтали только о том, как бы выбраться обратно на шоссе. Но вдруг неподалеку замерцало несколько огоньков, — там оказалась деревня. Еле живые от холода и усталости, мы доплелись до нее и постучали в первую же избу.

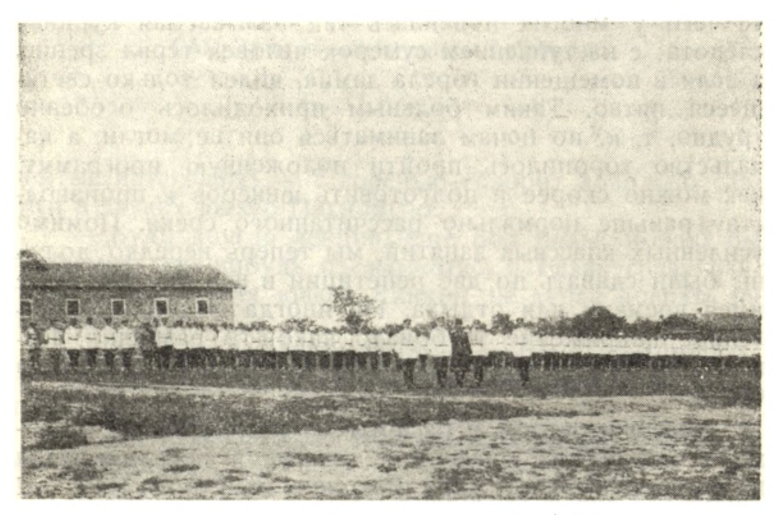
За шесть лет своей жизни в Болгарии я исходил множество сёл и деревень, но таких людей, как здесь и такого приема больше нигде не встречал. Это объясняется вероятно глухим местоположением и изолированностью этого горного посёлка, — тут, оказывается, даже не знали, что в Болгарии уже полтора года находятся части русской армии.

Понявши, наконец, кто мы такие, старик хозяин, еще помнивший Шипку и Плевну, по-очереди нас обнял, приговаривая, что не чаял дожить до счастья снова увидеть в этих горах русских воинов. Нас усадили возле печки, разули и какие-то женщины растерли наши окоченевшие ноги гусиным жиром. Тем временем чуть ли не вся деревня сбежалась, чтобы на нас посмотреть. Детям старик говорил: — "целуйте руки сыновьям наших освободителей!“ Надо отметить, что в Болгарии старики повсеместно относились к нам с большой симпати-

ей, а молодежь, воспитанная на немецких влияниях и сильно затронутая коммунизмом, обычно смотрела волками.

Едва мы сказали о наших затруднениях, сейчас же была запряжена и нагружена всякой снедью телега, на которой сын хозяина отправился туда, где ожидали наши, а Куреного и меня почти силою оставили ночевать, предварительно накормив и напоив до отвалу и обещав на следующий день отвезти на станцию.

Часа через два возвратился хозяйский сын и сказал, что на указанном ему месте он никого не обнаружил. Как после выяснилось, всех юнкеров подобрал ехавший порожняком грузовик и довез до станции.



Юнкера — сергиевцы в строю на плацу Т.-Сеймена.

4. РАЗЪЕЗД

Зима прошла в беспросветной зубрежке и при обстоятельствах более трудных, чем предыдущая. Казна Главнокомандующего была истощена, денег на содержание училища теперь отпускали в обрез, и это прежде всего сказалось на нашем питании, которое резко ухудшилось. Юнкера хронически недоедали, в результате чего у многих появилась так называемая куриная слепота: с наступлением сумерок человек терял зрение, а если в помещении горела лампа, видел только светящееся пятно. Таким больным приходилось особенно трудно, т. к. по ночам заниматься они не могли, а начальство торопилось пройти положенную программу, как можно скорее и подготовить юнкеров к производству раньше нормально рассчитанного срека. Помимо усиленных классных занятий, мы теперь нередко должны были сдавать по две репетиции в неделю, почти не имея времени для отдыха. Но иногда подобное умственное напряжение требовало какой-то разрядки. Память мне рисует такую картинку из нашего тогдашнего быта:

Весенним утром у раскрытого настежь окна казармы стоит группа юнкеров, с затаённой печалью глядя на красоты Божьего мира. Все явно не в духе. Еще бы! — в расписании лекций на сегодня значится интегральное исчисление, которое преподает очень строгий полковник Безак, — два часа подряд, потом фортификация. А за окном, как назло, весна во всю ширь развернула свои дразнящие прелести и легкий ветерок доносит откуда-то запах цветущих яблонь.

— И в такой день жевать в темной аудитории про-



САУ. Занятия при орудии в Т.-Сеймене.

клятые интегралы! — с горечью говорит довольно слабый в науках юнкер Пахиопуло.

— Будь другая лекция, еще пол беды, можно бы подремать где-нибудь на камчатке, а Безак сразу накроет, — добавляет юнкер Липкин, не дурак поспать на лекциях.

— Хоть бы уж производство скорее, — мечтательно произносит юнкер Давыдов, тянущийся на "портупея".

— До производства еще успеешь штаны протереть в аудиториях.

— Ребята, кто со мной в разъезд? — после довольно продолжительной паузы спрашивает третьеразрядник Борис Островский.

На всех присутствующих этот вопрос производит заметное действие и гирей тяжелого искушения нависает над голосом рассудка.

— У Безака слишком опасно, засыпет, — нерешительно говорит Пахиопуло.

— Небось не засыпет. Он нагнал на людей страху и теперь уверен, что никто от его лекции не увильнет, значит особенно приглядываться не станет. Мишка, пойдешь?

— Что ж, пожалуй пойду, — соглашаюсь я. — Твое рассуждение мне кажется логичным, к тому же терять мне нечего: Черепаха всё равно найдет какой-нибудь предлог, чтобы поставить меня под шашку или припаять очередную пачку нарядов.

— Да и я поплетусь, — присоединяется Липкин.

Мы трое деловито начинаем собираться вместо лекции на речку. Остальные смотрят на нас с затаённой завистью. Кой у кого в мыслях проносятся портупейские лычки, — ведь если поймают, не видать их, как своих ушей.

— Я тоже пойду, — солидным баском заявляет юнкер Феоктистов, после короткой душевной борьбы.

— Не будь я сегодня дежурный трубач, тоже пошел бы, — раздумчиво говорит Пахиопуло. — Впрочем, я попрошу Петьку Вицына подать за меня сигнал к началу занятий.

Давыдов, чтобы устоять перед искушением, поспешно спускается в аудиторию, подбадривая себя тем, что знать интегралы необходимо каждому порядочному артиллеристу.

Участники разъезда по-одиночке направляются из казармы к стоящей далеко в стороне уборной. На этом пути они вне подозрений. Опасен следующий этап: от уборной, хорошенько оглядевшись по сторонам, надо пробежать по открытому полю шагов двести, до ближайшего оврага. По его дну спуститься в долину небольшой реченки Юрочки уже не трудно.

— Топаем к нашей заводи? — спрашивает Пахиопуло.

— Ну, а куда же еще! Там выкупаемся и на солнышке полежим.

— Можно будет и в "зубаря" сыграть. Ножик у кого-нибудь есть?

— А то как же! Специально для этого прихватил, — успокаивает Липкин.

На полверсты ниже отлогий берег Юрочки расширялся в уютную полянку, хорошо защищенную от посторонних глаз кустами и плакучими ивами. Мелкая реченка здесь, на повороте, образовывала небольшую, глубиной по-пояс заводь, в которой можно было недурно выкупаться, а потому это место для юнкерских "разъездов" считалось идеальным. Не торопясь и на ходу поснимав гимнастерки, мы направляемся туда.

— Ого, да здесь уже кто-то есть, — говорит Феоктистов, идущий впереди. — Кажется, разъезд третьего отделения.

Действительно, на полянке сидело и лежало несколько юнкеров, которые сразу всполошились, услышав звуки шагов за кустами.

— Не боись, свои! — крикнул Островский. — От какой премудрости удрали?

— От оптических приборов, — отвечает юнкер третьего отделения Флейшер. — Разведка донесла, что капитан Колтунов в хорошем настроении, а если так, он пересчитывать людей в аудитории не станет.

— А вы что, в преферанс режетесь?

— Заложили пульку, чтобы убить время, хорошо идет на лоне природы! Только вот Васька Смирнов играет как сапожник, всё настроение портит.

— Вали с больной головы на здоровую, — огрызается Смирнов. — Кто только что остался без двух на верной игре? Кстати, я и играть не хочу, мне надо постирать гимнастерку. Мишка, может ты за меня сядешь?

— Да ну его к лешему, ваш преферанс! В такую погоду и думать лень. Я намерен прежде всего поваляться спокойно на травке, а потом полезу в воду.

— А вон еще кто-то идет, — указывает Липкин на две приближающиеся фигуры. — Никак Тихонов и Поликарпович.

— Добро пожаловать, — приветствуют их. — Только вас тут и нехватало!

— Тихонов, хочешь вместо меня в преферанс? — предлагает Смирнов.

— Не могу, я обещал Поликарповичу позаниматься с ним здесь теорией артиллерии. Пахиопуло, Липкин, и вам полезно послушать!

— Иди ты в трещину! — обижается Липкин. — От Безака удрали, чтобы твою лекцию слушать!

— Ну,дело хозяйское. Вспомнишь меня, когда получишь кол на репетиции, — говорит Тихонов. Он и Поликарпович усаживаются под деревом и разворачивают записки по артиллерии. Через некоторое время оттуда доносятся голоса:

— Да я же вчера тебе всё это разжевал и втемяшил! Неужели за одну ночь забыл?

— Забыл, — признаётся Поликарпович, думающий о том, как хорошо было бы сейчас снова очутиться в отцовском поместьи и выкупаться не в этой луже, а в родном Днепре. Чёрта ли тут сосредоточишься на этих формулах!

— Ну, слушай, дубина, — как сквозь сон доносится до его сознания голос Тихонова, — я объясню еще раз, но будь внимателен. — Поликарпович тяжело вздыхает и на минуту превращается в олицетворенное внимание.

— Фу, дьяволы, отравили всю красоту дня своей математикой, — негодующе говорит Феоктистов, приподнявшись на локте. — Ребята, кто в зубаря?

В желающих нет недостатка, но сначала решено выкупаться. Раздевшись все лезут в зáводь, под ругань Смирнова, который усадил за карты Крылова и стирает тут свою рубаху.

— Что за хамство, всю воду мне замутили! — возмущается он.

— Ничего, Васька, подождешь пока она отстоится, тебе не к спеху, — успокаивает его юнкер Кашкадамов.

— А тебе куда спешить с твоим купанием?

— Как куда? А Тита Васильевича изводить.

Тит Васильевич Письме́нный, здоровый как буйвол и нелюдимый юнкер лежит поодаль с книгой в руках. Извести приставаниями Тита и довести его до бешенства было любимым занятием юнкеров третьего отделения, а Кашкадамова в частности.

Поплескавшись в воде, вся компания "зубаристов" вылезает на берег и усаживается в кружок. Липкин открывает большой перочинный нож и ловко подбрасывает его в воздух. Игра заключается в том, что все по-



САУ, Тырново-Сеймен, юнкера на наблюдательном пункте.

очереди кидают его различными способами, с рассчетом, чтобы падая он воткнулся в землю. По окончании партии, в мягкую почву забивается небольшой колышек, причем каждый игрок имеет право два раза ударить по его верхушке рукояткой ножа. Проигравший должен выдернуть его зубами, без помощи рук.

Первую партию проиграл Борис Островский. Играющих было много и колышек ему забили так, что он ушел в землю весь целиком.

— Ах, черти! Да тут же и ухватиться не за что!

— А ты используй дар природы, она тебя не зря таким носярой снабдила! Расковыряй им землю вокруг, вот и ухватишься.

После долгой возни и ругани, Борис убеждается, что иного не придумаешь и следует полученному совету. Зрители катаются по траве от смеха, глядя как он длинным носом проворно подкапывает колышек. Наконец он выдернут, Островский бежит к воде мыть перепачканную физиономию и игра возобновляется.

— Ты, Крылов, оказывается еще хуже Васьки играешь, — доносится из-под соседнего дерева голос Флейшера. — Я тебе вышел последнюю пику и жду ответа, чтобы крыть козырем, а ты знай черву засмаливаешь!

— А что мне родить было пику, если ее у меня нет?

— Тогда ходил бы трефу, ишак! А ты предпочел ему короля червей отыграть!

— Тит Васильевич! — кричит Письменному Кашкадамов, примостившись из благоразумия на другом берегу речки. — Так ты, значит, по гражданскому Тит. а по церковному как?

— Пошел ты к чертовой матери! — огрызается Тит, постепенно накаляясь.

Так проходит час. После "оптических приборов", — лекции капитана Колтунова, — из казармы приходят еще несколько юнкеров.

— Ну как, Колтунище никого не засыпал? — спрашивают у них.

— Какое там! Даже не посмотрел сколько народу в аудитории. Всё в окно поглядывал и вздыхал, видно сам бы непрочь в разъезд, да чины не пускают.

Пополнение быстро распределяется по группам. На лужайке теперь человек пятнадцать, большинство без рубах, а некоторые и вовсе голые. Опасности никто не ожидает, — начальство сюда не заглядывает, поэтому дозорного не выставили и никаких мер предосторожности не приняли. Общее внимание сосредоточено на зубаре, — там над очередным колышком трудится теперь Липкин, вздернутый нос которого для подкапыванья мало пригоден и публика рвет животы от хохота, глядя как он им пашет землю вокруг кола.

— Драпай, братва, Колтунов! — раздается вдруг сдавленный крик Кашкадамова.

Большинство не трогается с места, полагая что это шутка. Некоторые вскакивают и озираются и только самые стрелянные воробьи не теряя мгновенья бросаются в кусты. Через две-три секунды замешкавшиеся понимают, что бежать уже поздно: Колтунова заметили только тогда, когда он входил на поляну. Теперь, опу-

стив голову и ни на кого не глядя, он медленным шагом брёл мимо толпы растерявшихся юнкеров.

— Встать! Смирно! — скомандовал Феоктистов, окончательно обалдевший от неожиданности.

— Ты бы еще с рапортом подошел! — шепнул ему Пахиопуло.

На Колтунова команда не произвела никакого впечатления. Пройдя через лужайку, с таким видом, словно пересекал самую безлюдную часть Сахары, он всё так же медленно пошел дальше, по берегу речки.

Ничего не понимая, мы с недоумением переглядывались. Капитан Колтунов был помощником инспектора классов, следовательно наш проступок, — бегство с лекций, — касался его в большей степени, чем кого-либо иного из начальства.

— Чёрт возьми, что же теперь делать? Докладывать курсовым офицерам, что мы поймались, или нет?

— Конечно, не докладывать! — горячо говорит Кашкадамов. — Человек определенно дал понять, что он ничего не хотел ни видеть, ни слышать!

— Ясное дело, — радаются голоса. — Иначе он бы раскричался и всех переписал. Если доложим, не только сами себя высечем, но еще и его подведем, — ведь он тоже не имел права оставить такое дело без внимания.

— Да может быть и не оставит. Запомнил несколько физиономий и возвратившись со своей прогулки еще пропишет нам кузькину мать.

— Ну, такие замедленные действия не в его духе! Это тебе не Черепаха!

— Надо это выяснить, братцы, — говорит Феоктистов. — Чего там еще мудровать? Я сейчас у него самого спрошу!

— Брось, Сережка, неловко, — удерживают его, но Феоктистов уже бежит за Колтуновым и догнав его, умильным голосом спрашивает:

— Господин капитан, ведь вы нас не видели?

— Я и сейчас вас не вижу, — мрачно буркнул Колтунов, не поднимая головы.

— Покорно благодарим, господин капитан! — с чувством произносит Феоктистов и спешит обратно.

Уже после нашего производства в офицеры, вспоминая эту историю, Колтунов объяснил, что в то утро он и сам был почти в "самодрале", бросив в инспекторской срочную работу и отправившись побродить по окрестностям, а потому совесть ему не позволила застукать удравших от лекции юнкеров, на табор которых он наткнулся совершенно случайно. Повернуть обратно и незаметно удалиться было уже поздно, т. к. его в этот момент увидели. Оставалось только пройти мимо, никого "не заметив", что он и сделал.



Главная улица Тырново-Сеймена.

5. ПРОИЗВОДСТВО

Весною 1923 года получил производство в офицеры старший курс, полностью прошедший программу училища в нормальный срок. Мы, последние юнкера Сергиевцы, со среднего перешли на старший, но уже знали, что и наше производство не за горами: средств для дальнейшего содержания военных училищ не было и потому все они получили от Главнокомандующего приказ, — хотя бы сокращенным курсом, подготовить последних юнкеров к выпуску 12-го июля того же года, в день св. Петра и Павла.

Усиленные занятия продолжались до последнего дня. Помимо очередных репетиций, некоторые юнкера, — чтобы повысить свой средний балл, а следовательно и старшинство в общем списке выпускников, — спешили пересдать те, по которым они получили слабую оценку. Почти все засиживались в аудиториях до глубокой ночи, взялись за ум даже отличавшиеся ленцой. Преуспевающие в науках помогали отстающим, — решено было "натаскать" и спасти всех слабых, включая двух-трех почти безнадежных, которые сами не верили, что им удастся благополучно окончить училище. О каких-либо разъездах теперь не было и речи.

Вечером десятого июля последняя группа юнкеров приступила к сдаче последней по курсу репетиции. В каждой группе в среднем бывало человек пятнадцать. Когда был вызван к доске последний из них, — по училищной традиции на всех четырех углах казармы трубачи одновременно затрубили сигнал "великий отбой". В силу той же традиции, едва раздались звуки этого сигнала, преподаватель, не задав стоящему у доски юн-

керу ни одного вопроса, поставил ему 12 баллов. Тут следует пояснить, что юнкера сдавали репетиции не по алфавитному списку группы, а в том порядке, который они устанавливали сами. Это позволяло на финальной репетиции поставить последним такого юнкера, для которого эта традиция нередко являлась спасением.

После этого, если данного преподавателя юнкера любили, его "качали" и выносили из аудитории на руках. Те немногие, которые не удостаивались этой чести, могли быть уверены, что в дальнейшей жизни никто из бывших юнкеров добром их не помянет.

У нас последняя репетиция была по оптике, — предмет довольно трудный для людей плохо ладящих с математикой. Юнкер Поликарпович, — вовсе с ней неладивший, — получил традиционные 12 баллов, а капитана Колтунова мы "качнули" с таким искренним энтузиазмом, что он взлетал под самый потолок, затем под крики "ура" отнесли его в инспекторскую. Курс был окончен.

Вопреки всем усилиям и прогнозам капитана Коренева, который не раз мне говаривал: "вы, юнкер Каратеев, у меня училища не кончите", — я его окончил по первому разряду и с очень высокими оценками.

Как обычно, на следующий день, одиннадцатого июля, была разборка вакансий, которая производилась в порядке старшинства по среднему баллу. В нашем случае она была весьма несложна: мудро решив сохранить нас заграницей как единую Сергиевскую семью, генерал Врангель приказал два последние выпуска целиком оставить в прикомандировании к Училищу, превратив его, таким образом, в нашу общую воинскую часть. Но можно было получить производство в офицеры по полевой пешей или по конной артиллерии, — к этому и свелась у нас разборка вакансий. Конная имела особую форму одежды, — в частности синий кант и серебряные пушки на погонах, золоченый драгунский тишкет и саблю вместо шашки, — а потому считалась шикарней и была мечтой почти каждого юнкера. Но на восемьдесят шесть окончивших, в конную артиллерию было всего восемь вакансий. Одна из них досталась мне.

В полночь, накануне производства, каждый выпуск устраивал в зале традиционный ночной парад. Командовал им фельдфебель, а принимал его "генерал выпуска", т. е. юнкер окончивший училище последним, — у нас им оказался Липкин. Для каждого из четырех взводов, участвовавших в параде, соответствующим приказом устанавливалась особая форма одежды. В нашем, последнем выпуске она была следующей:

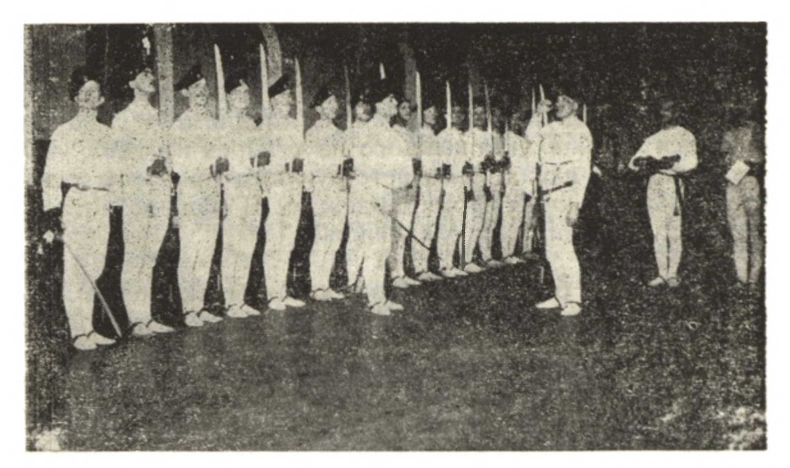
1-й взвод: бескозырка, шинельная скатка через плечо, набедренная повязка из полотенца и сапоги со шпорами.

2-й взвод: кальсоны, фуфайка, коричневый кожанный пояс, сапоги, перчатки и вещевой мешок за плечами.

3-й взвод: пять белых казенных носков, — два на ногах, два на руках, а пятый вместо фигового листа.

4-й взвод: тут дело обстояло сложнее. Перед началом парада этот взвод должен был построиться в одну шеренгу, в обычной юнкерской форме; затем раздеться донага и аккуратно, в уставном порядке, сложить всё с себя снятое тут же, перед собой, на полу. Каждому надлежало выйти на парад в том, что он снова успеет надеть втечение десяти секунд, которые громко отсчитывал фельдфебель. Успели надеть, конечно, очень немногое, — самый нерасторопный только кальсоны и один сапог.

Всё наше начальство, зная об этой традиции, в ночь парада деликатно куда-то исчезало, включая и дежурного офицера. Но это была только видимость, а в действительности из всевозможных темных закоулков, через ставни окон, щели дверей и т. п. парад наблюдали не только все наши строевые офицеры и педагоги, но и сам начальник училища, а по слухам даже некоторые училищные дамы. Каждому было интересно прослушать читавшийся в зале "приказ", в котором окончившие юнкера продёргивали своих начальников и преподавателей, корректно, но ядовито воздавая каждому по заслугам. Следовавшие за этим "опрос претензий" и смотр тоже изобиловали остроумными шутками и высмеиваньем не-



САУ. Один из традиционных ночных парадов.

которых училищных порядков, но особенно захватывающее зрелище являл собою церемониальный марш батареи, которая в вышеописанных формах одежды повзводно проходила перед "генералом".

В эту ночь спать нам почти не пришлось. Парад окончился в два часа,после этого все приводили в окончательную готовность и примеряли свою новую офицерскую форму, витая в атмосфере радостного возбуждения. Улеглись около четырех, а в шесть нас, как обычно, разбудил трубный сигнал. Некоторые, уже чувствуя себя офицерами, попробовали было слегка задержаться в постелях, но дежурный по училищу капитан Лавровский, их беспощадно расцукал, напомнив, что они еще юнкера.

В двенадцать часов дня, все окончившие, в праздничной юнкерской форме, были выстроены в нарядно убраном зале. Генерала Врангеля, производившего нас в офицеры, из Югославии в Болгарию не пустили, но все уже знали, что от него только что пришла телеграмма, которая гласила:

"Сердечно поздравляю славных юнкеров Сергиевцев подпоручиками. Твердо верю, что молодые орлы будут достойны своих доблестных старших соратников".

Эту телеграмму торжественно прочел перед нашим строем приехавший из Главного Штаба генерал Ронжин. После этого он пошел вдоль фронта, поздравляя и пожимая руки молодым офицерам. За ним следовал адъютант училища, каждому вручавший сложенный вчетверо приказ о производстве, — получивший сейчас же подсовывал его под левый погон, еще юнкерский, доживающий свои последние минуты на плече того, кто уже стал офицером.

После поздравлений и рукопожатий всего училищного персонала, впервые раздалась для нас команда "господа офицеры", вместо обычного "разойтись". Все поспешно устремились в спальню, чтобы переодеться в офицерскую форму, которая уже в полном порядке лежала у каждого на постели.

Важнейшее и незабываемое для каждого военного человека событие свершилось: после долгих лет подготовки в кадетском копусе, военном училище, а в нашем случае еще и на войне, — мы, наконец, вступили в русскую офицерскую семью. Но увы, при обстоятельствах подлинно трагических и в истории Русской Армии небывалых: через три дня нам предстояло отправиться не в славные воинские части, а по окрестным городкам и сёлам, искать себе применения в качестве чернорабочих и батраков.

Вечером состоялся банкет, на котором, кроме нас, — героев торжества, — присутствовал весь училищный персонал и многие офицеры сергиевцы прежних выпусков. Эта трапеза носила чисто семейный характер. Как водится, говорилось много тостов и здравиц, пелись хором артиллерийские песни и превосходные болгарские вина лились рекой. За столами засиделись далеко за полночь, — расходиться не хотелось, т. к. все понимали, что это не просто выпускной праздник, а лебединая песня

Училища, и что в таком полном составе мы больше никогда не соберемся.

На следующий день был устроен уже более торжественный обед, с приглашением наших кунаков кубанцев, а также полковника Златева и некоторых болгарских офицеров. И в тот же вечер, уже в более интимной обстановке, нас приветствовали ужином офицеры предыдущего выпуска, большинство которых еще работало в окрестностях Тырново-Сеймена.

На третий день празднованья закончились выпускным балом. В то "обскурантное" время фокс-трот и уанстеп считались еще неприличными танцами, зато можно было блеснуть своим искусством и изяществом в мазурке (воображаю в этом танце современного хиппи!), которую мы лихо отплясывали, вперемежку с вальсом и другими старыми танцами. Дам, правда, было немного, — только жены и дочери сергиевских и кубанских семейных офицеров, но вечер прошел весело, а главное дал нам возможность покрасоваться в нашей новенькой офицерской форме.

Четвертый день был посвящен отдыху от всех трудов и увеселений, а на пятый с утра можно было наблюдать грустную картину: вчерашние блестящие офицеры, одетые во всякое старье, небольшими группами и в одиночку выходили из дверей казармы и разбредались по окрестностям, в поисках заработка.

Кадр Сергиевского Артиллерийского Училища вскоре был переведен в Софию, увлекши за собой и большую часть молодых офицеров. Но все же в Тырново-Сеймене осталась значительная группа сергиевцев, работавших в этом районе, — возглавил ее наш командир дивизиона полковник Мамушин. В казарме за нами сохранилось несколько комнат, помещение офицерского собрания и в лазарете одна палата на четыре койки, причем больные были обеспечены бесплатным пайком и лечением. В распоряжении Мамушина была оставлена также известная сумма денег, которая позволяла ему, в случае необходимости, взаимообразно выдавать нуждающимся небольшие ссуды и оплачивать паёк тем, кто временно оставался без работы и без денег.



Последний выпуск офицеров САУ.

Всё это являлось подлинным спасением для нас, еще не втянувшихся в работу и не всегда могущих найти ее в этом бедном возможностями районе. Кроме того, близость казармы, с ее русским населением, каждому позволяла в любой момент явиться туда, чтобы отдохнуть душей и телом, и одевши военную форму, хоть на несколько дней снова почувствовать себя офицером, а не рабочим.

Эта тяга к "родной" казарме значительно усилилась, когда несколько месяцев спустя в ее освободившуюся часть вселили привезенную сюда русскую смешанную гимназию, и местное общество обогатилось изрядным количеством русских барышень. В силу всех этих обстоятельств, многие из нас, отложив всякие попечения о более благоразумном устройстве своей жизни, довольно весело и беззаботно прожили в Тырново Сеймене еще несколько лет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НА "ОФИЦЕРСКИХ ВАКАНСИЯХ"

1. НА ПОДНОЖНЫХ КОРМАХ

Летом 1923 года Сергиевское Артиллерийское Училище дало в Болгарии свой последний выпуск и как военно-учебное заведение было закрыто. Теперь оно обратилось в простой артиллерийский дивизион и перешло на то же положение, в котором находились все другие части Белой армии, — иными словами какие-либо денежные поступления из казны полностью прекратились и впредь каждый из нас должен был собственным трудом добывать средства к существованию.

В этой области наши возможности были весьма ограничены. Поблизости не было ни фабрик, ни каких-либо предприятий, куда можно было бы устроиться на постоянную работу, и мы могли рассчитывать почти исключительно на сельский труд или на небольшие постройки. Только возле одной из ближайших железнодорожных станций имелась угольная шахта "Марица", директором которой был русский инженер Непокойчицкий. Он мог принять туда человек пятнадцать шахтерами, чем некоторые сразу же воспользовались.

Меня работа под землей не прельщала. С двумя приятелями я больше месяца блуждал по окрестным сёлам, изредка возвращаясь на денек в казарму, а во время странствований питаясь главным образом "уведенными" с баштанов арбузами и шелковицей, благо в этих краях она росла повсюду, т. к. почти все селяки подрабатывали разведением шелковичных червей. Кроме нас троих, в том же районе искало работу еще несколько десятков человек, что в достаточной степени насыщало рынок и за всё это время нам удалось в общей сложности пробат-

рачить дней пять или шесть. После этого, поняв что на шелковичном довольствии долго не протянешь. скрепя сердце я отправился на шахту Марицу. Тут, в одном из рабочих бараков, нашим сергиевцам было отведено две или три отдельных комнаты, в которых они уже обжились, даже навели некоторый уют и на свою судьбу особенно не жаловались. Без всяких осложнений был принят на работу и я.

Шахта была горизонтальной, — она начиналась прямым туннелем, входящим в недра горы и там ветвилась на множество взаимнопересекающихся галлерей. Работали в ней в две смены, пáрами: забойщил киркой отбивал уголь и "породу", а его помощник нагружал всё это лопатой на вагонетки и вывозил наружу. Платили сдельно, от пройденного метра галлереи, и когда наши поднаторились, стали зарабатывать вполне прилично, а главное работа была постоянной и потому у "маричан" всегда водились деньги, тогда как работавшие по сёлам и на постройках обычно сидели в долгах, ибо их заработки проедались в периоды поисков новой работы.

Выступать мне пришлось сразу же в ночную смену. Перед этим моим дебютом "старики", как водится, целый день ублаготворяли меня рассказами о случавшихся тут обвалах, о взрывах гремучего газа и о погибших при этом шахтерах, — телá некоторых никогда не были откопаны и теперь их духи иногда появляются в штольнях. Особенно зловещим и жутким, по общим отзывам, был призрак трехлетнего мальчика, который как-то забрался в шахту, где в то время работал его отец, и был засыпан обвалом. С тех пор ночами, в белой рубашéнке, он с плачем бегает по пустым галлереям и ищет своего отца.

После такой обработки гонять вагонетку по темным и безлюдным штольням было жутковато. Каждый скрип деревянных креплений или падающий сверху комок земли казались началом обвала. Однако к этому быстро привыкаешь и гораздо хуже бывало, когда тяжело груженная вагонетка соскакивала с рельсов и надо было своими силами поставить ее на место. При этом иной раз подвешенная к ней горняцкая лампа падала и гасла,

— во избежание взрыва газов зажигать ее самому было нельзя и в этих случаях приходилось в кромешной тьме наощупь пробираться по подземному лабиринту к тому месту, где специальный "лампистер" заменял потухнувшую лампу горящей.

Прошахтерствовал я, впрочем, не долго. Уже через несколько дней у меня началась малярия. В Болгарии она свирепствовала повсюду и русские болели ею почти все. Приступы болезни повторялись периодически, у одних через день, у других через два, три и реже, — они сопровождались страшным ознобом и очень высокой температурой, но через несколько часов всё это проходило и человек чувствовал себя нормально до следующего приступа. Каждый малярик вскоре после заболевания уже точно знал свой период и перед приступом принимал хинин, чтó первое время помогало, но потом, несмотря на предельное увеличение дозы, хинин переставал действовать и оставалось только положиться на милость судьбы. Иногда малярия проходила сама, особенно при переезде в более здоровую местность, а иногда доводила человека до госпиталя и даже до могилы. Я лично избавился от нее только через несколько лет, когда уехал из Болгарии, но к счастью у меня была сносная форма болезни, — приступы повторялись через пять дней в шестой.

Но после первого приступа, который случился у меня в свободный день, я еще не знал когда будет второй. И начался он во время работы, что я понял не сразу, будучи еще неопытным в малярийных делах. Чувствовал, что в шахте становится всё холоднее, в голове нарастает какой то сумбур и каждая вагонетка кажется тяжелее предыдущей. Наконец, обессилев, я остановился с нею на полпути, присел рядом, чтобы отдохнуть и видимо задремал или забылся. А когда очнулся и открыл глаза, — увидел, что в двух шагах стоит маленький патлатый ребенок в белой рубашке и тянет ко мне худые, непомерно длинные ручонки.

В первый момент я не испугался и даже не очень удивился. Потом внезапно сообразил кто это такой, — меня обдало как варом, я схватил стоявшую рядом лам-

пу и бегом бросился к выходу. Когда меня уложили в постель и померяли температуру, оказалось что она близка к сорока одному. На другой день я с шахты ушел и возвратился в Тырново-Сеймен.

В казарме начальник нашей Сергиевской группы, полковник Мамушин, принимал таких неудачников не очень любезно. Все они являлись без гроша в карманах и все просили денежной ссуды из кассы взаимопомощи или зачисления на паёк до нахождения новой работы, а получив то или другое, искали ее не слишком усердно. Таких было много, особенно первое время, а возможности Мамушина, в смысле помощи, были невелики. Очередного "клиента" он встречал сурово насупившись, сразу заявлял, что денег дать не может, ибо касса пуста́ и долгов никто не возвращает, затем пускался в горькие жалобы на нашу несознательность и нерадение, а облегчив этим душу, ссуду или паёк все-таки давал и заканчивал приказанием долго в казарме не засиживаться.

Пройдя через всё это и несколько освоившись с малярией, я устроился рабочим на постройку, тут же, в Тырново-Сеймене. Это был двухэтажный кирпичный дом, с уже возведенным остовом. С его окончанием видимо очень спешили, т. к. помимо изрядного количества рабочих болгар, дополнительно взяли еще трех русских.

Нужно сказать, что работа на постройках была самой нудной и невыгодной, и мы брались за нее лишь в крайних случаях. В Болгарии с рабочими в ту пору не церемонились, а о восьмичасовом рабочем дне они не начали и мечтать. Под грубые окрики и понукания надзирателей надо было "вкалывать" от восхода солнца до захода, с двухчасовым перерывом на обед, т. е. не меньше одиннадцати часов, а платили за это 60-70 левов на своих харчах,[1]) тогда как при сдельной работе в сёлах можно было заработать вдвое и даже втрое больше, на харчах хозяйских.

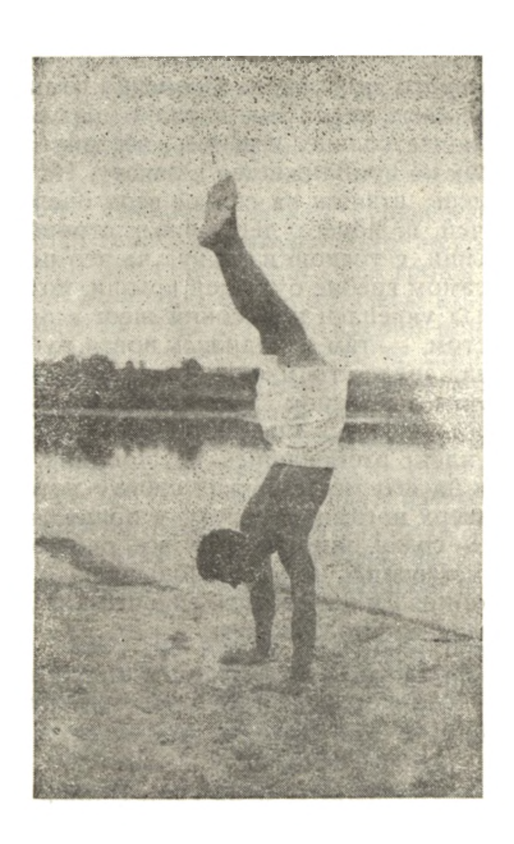
---

[1]) Один доллар в то время стоил около ста левов.

В силу такого положения, работал я на этой постройке без всякого энтузиазма. Особенно томительны были последние часы, когда уже изрядно сказывалась усталость, а палящее солнце, казалось, застряло на месте и ни на волосок не приближается к закату. На третий или четвертый день, втащив на самый верх очередную порцию кирпичей, я, поверх деревянных стропил, уложенных для крыши, с тоскою взглянул на это неподвижное солнце. На самом гребне будущей крыши, по болгарской традиции был укреплен невысокий шест с подвязанным к нему пакетом, — там находилась новая рубаха, а если хозяин бывал щедр, то и еще что-нибудь из одежды, — это получал в подарок старший мастер в день окончания постройки. И тут мне пришла в голову спортивно-озорная идея: взобравшись на стропила, я отвязал этот шест и на его месте выжал стойку на руках. Простояв так, вверх ногами, с минуту, я принял нормальное положение и сразу заметил, что все рабочие бросили работать и уставились на меня. Польщенный таким вниманием, я собирался изобразить еще что-нибудь, но надзиратель снизу яростно заорал:

— Эй, русский, ты не туда попал, — здесь тебе не цирк и ничего мне развлекать рабочих! Слезай с крыши и получай рассчет!

Потеря такой работы меня скорее обрадовала, чем огорчила, тем более что это упоминание о цирке оказалось пророческим. В скором времени в Тырново-Сеймене началась ежегодная ярмарка, сопровождавшаяся обычными в таких случаях увеселениями: тут были тир, карусель, беспроигрышная лотерея, несколько балаганов с различными диковинами, вроде женщины-обезъяны и т. п. Приехал и небольшой бродячий цирк. Для вящего успеха ему не хватало музыки, а у нас в казарме без дела лежали все инструменты училищного духового оркестра. Среди безработных офицеров нашлись и музыканты. Быстро поладив с хозяином цирка, мы составили небольшой, — человек десять, — оркестр и с неделю сопровождали музыкой цирковые представления. Потом, в силу естественных причин, число посетителей стало бы-



стро убывать и циркач вынужден был от наших услуг отказаться.

Но за это время мы уже успели договориться с хозяином такого же бродячего кинематографа, который, обладая каким-то странным керосиновым аппаратом и четырьмя архаически-ветхими фильмами, ездил из села в село и вечерами, прямо под открытым небом, развлекал крестьян этим чудом техники.

Следует пояснить, что в Южной Болгарии, в таких небольших городах, как Тырново-Сеймен, кинематографов тогда еще не было, а в сёлах многие даже не знали

о их существовании. Точно также обстояло дело и с радио, — оно было в ту пору абсолютной новинкой даже для нас и мы его впервые услышали в офицерском собрании болгарского кавалерийского полка, стоявшего в соседнем городе, куда нас специально пригласили, получив первый в этой области радиоприемник. Позже такие же мелкие дельцы ездили по селам с радиоаппаратом и однажды я был свидетелем того, как селяки, не поверившие что передачу можно слышать "даже из Софии", едва не разбили аппарат, заподозрив что их морочат и что в нем спрятан обыкновенный патефон.

Нашему кинопредпринимателю большой оркестр был ненужен и, договорившись делить доходы пополам, с ним отправились в странствованье пятеро: корнет-а-пистон, баритон, кларнет, маленький барабан и тромбон, на котором играл я.

Прибыв в очередное село (инвентарь перевозился на ишаке, а персонал топал пешком), мы на площади били в барабан и объявляли, что вечером тут же будет дан потрясающе-интересный и поучительный киносеанс, сопровождаемый оркестром музыки, — если к тому времени желающие присутствовать соберут такую-то сумму (она назначалась в зависимости от величины и зажиточности села). С наступлением темноты, когда собирался народ, перед установленным на площади экраном хозяин произносил пространную речь, поясняя сущность кинематографа и всё его значение для развития мировой культуры, а затем громким голосом давал пояснения к фильму. Его жена крутила рукоятку допотопного кинопрожектора, а мы располагались сзади и начинали играть, не сводя глаз с экрана. Да не подумает читатель, что нас настолько захватывало содержание картины, нет, дело заключалось в том, что киноленты были склеены из кусков плохо согласованных друг с другом. Начинался, например, героически-батальный фильм, мы дули во-всю какой-нибудь бравурный марш, но вдруг ни с того ни с сего, в самый разгар сражения, на экране появлялись виды альпийских озёр или любовная идиллия, — тут надо было без заминки, с ходу перейти на вальс "Дунайские волны" или что-нибудь в этом роде.

Но вобщем дело шло и публике нравилось. Недели через две, опьяненный этими успехами предприниматель заявил, что впредь не согласен делить с нами доходы поравну и требует себе две трети. Руководила им, повидимому, не только жадность, но и другая, более глубокая причина: он безусловно заметил, что его жена, — еще молодая и пышная женщина, — очень уж ласково стала поглядывать на одного из нас. Так или иначе, но наше содружество распалось. Однако, в том селе, где это произошло, на следующий день была назначена какая-то богатая свадьба, нас попросили остаться и играть на ней. Мы, конечно, согласились и очень недурно заработали, не говоря уж о том, что наелись и напились всласть. Это дало нам новую идею: мы стали самостоятельно ходить по сёлам, предлагая свои музыкальные услуги для всяких местных увеселений. Была осень, — эпоха крестьянских свадьб, и следующие две-три недели, пока этот счастливый сезон не кончился, мы сносно подрабатывали и сверх того всегда были сыты, а нередко и пьяны.

"Братушки" повсюду встречали и провожали нас дружелюбно. Но тут надо сделать пояснение: к тому времени в Болгарии уже произошел правый переворот, причём Стамболийский был убит, но сторонников прежнего, прокоммунистического правительства повсюду было много и они деятельно готовились к реваншу.[2]) Поэтому мы избегали заходить в сёла, которые славились засилием коммунистов, но однажды, — дело было к ночи и приближалась гроза, — нам пришлось искать убежища в самом неблагополучном из таких селений, ибо иных поблизости не было. Там как-раз начиналось какое-то празднество и нас немедленно потащили туда играть.

Конечно, все знали кто мы такие, но по-началу всё шло благополучно и никаких враждебных выпадов про-

---

[2]) Несколько месяцев спустя по всей стране одновременно вспыхнули восстания, но они были быстро подавлены при участии русских Белых частей, казармы которых во многих местах подвергались нападению повстанцев.

тив нас не было, — наоборот, усердно угощали, но около полуночи, когда все уже были изрядно пьяны, распорядитель торжества громко крикнул нам, чтобы играли интернационал. Мы сделали вид, что не слышим и продолжали играть своё. Тогда к нам с угрожающим видом подступило человек десять и заправила повторил своё требование. Что было делать? — Играть интернационал не позволяло наше белогвардейское достоинство, а в случае отказа нам грозило по меньшей мере жестокое избиение.

— Дуй краковяк, ребята, — шепнул наш дирижер Калиновский, и мы с воодушевлением затрубили. Сначала болгары слушали молча, потом "томада" закричал:

— Что вы играете, дьяволы? Это не интернационал!

— Вот и видно, что ты давно не вылезал из своего села, — спокойно ответил Калиновский. — Ты наверно слыхал только старый, третий интернационал, а мы вам играем четвертый, недавно утвержденный в Москве.

Дело кончилось благополучно. Нас в ту ночь еще не раз просили играть "четвертый интернационал", — мы исполняли это с такой готовностью, что стяжали всеобщие симпатии и расплатились с нами щедро.

2. ПАСЫНКИ СУДЬБЫ

Сейчас много говорят и пишут о тех трудностях, которые приходится переживать в Западном мире лицам, принадлежащим к так называемой третьей русской эмиграции. Но нам, — представителям первой, — они кажутся подлинными баловнями судьбы, ибо наше положение было неизмеримо хуже. В то время на всем земном шаре не было ни одного общественного, политического или благотворительного учреждения, которое бы нам в чем-то помогло или проявило о нас хоть малейшую заботу. Только попавшим в Югославию правительство короля Александра первое время оказывало небольшую помощь, — остальные везде и всюду были обречены на произвол судьбы и случая. Ни одна страна, как правило, не давала нам въездных виз, все двери перед нами были наглухо закрыты, а государственные и законодательные учреждения повсеместно заботились лишь о том, чтобы где только возможно урезать нас в правах, которыми пользовались граждане всех других стран мира.

Паспорта Лиги Наций, которые нам выдавали, правильнее было бы называть волчьими, а не нансеновскими,[1]) ибо они фактически обрекали нас на полную беззащитность и бесправие. С таким паспортом чего-либо добиться можно было только окольными путями, — при помощи взяток, "ловчения", случайной протекции и т. п. Через границы приходилось перебираться нелегально, иной раз с опасностью для жизни (например, через

---

[1]) Беженским отделом Лиги Наций заведовал норвежский путешественник Фритьоф Нансен, подписывавший наши паспорта.

болгаро-сербскую), а о получении какой-нибудь службы мы не могли и мечтать. Нам приходилось довольствоваться только физической работой, да и то преимущественно такой тяжелой и грязной, за которую неохотно брались местные рабочие. И при этом нас еще на каждом шагу упрекали, что мы у кого-то отбиваем хлеб.

В этом смысле в Южной Болгарии условия были особенно скверны. Тут у нас периоды самого тяжелого физического труда, — от зари до зари, — чередовались с периодами безработицы или бесплодных поисков работы, в продолжении которых приходилось жить впроголодь; вдобавок, почти всех жестоко трепала малярия. Вскоре такое положение создало для некоторых серьезную угрозу: у четырех молодых офицеров нашей Сергиевской группы, в том числе и у меня, были обнаружены зачатки туберкулеза. К счастью в Болгарии тогда еще существовала наша русская, армейская санатория, куда нас всех в скором времени отправили.

Эта санатория ютилась в тенистом саду, на окраине города Великий Тырново. Богатством и роскошью она отнюдь не блистала, но нам, после многих лет чисто походной жизни, показалась необычайно уютной. Каждый больной получал тут хорошую постель в четырехместной палате, скромное, но здоровое питание, элементарный медицинский уход, а главное полный покой и отдых. Заведывал санаторией военный врач, доктор Трейман, стяжавший в офицерской среде широкую известность не столько своими профессиональными познаниями, как дуэлью с генералом Растегаевым, в исходе которой воинственный эскулап ранил своего противника. Персонал дополняли младший врач, две сестры и фельдшер, а больных было человек тридцать, преимущественно таких же как мы, молодых офицеров, с болезнью захваченной в начальных стадиях. Но были и более тяжелые. Из них запомнился мне поручик Громов. Он харкал кровью, температура по вечерам поднималась у него до 39-ти градусов, но утром, с трудом поднявшись с постели, он сейчас же начинал собирать партию в преферанс. И если кто-либо из его обычных парт-

неров отказывался, Громов сражал его таким доводом: "да будь же человеком, ведь это, может быть, моя последняя пулька!" Он знал, что его дни сочтены, но замечательно владел собой, шутил и ожидал своего конца с каким-то озорноватым бесстрашием. Чтобы так умирать от чахотки, нужно, пожалуй, не меньше героизма, чем для доблестной смерти в бою.

В наших армейских частях кандидатов в санаторию было много, а потому попавших в нее счастливцев там долго не держали, — месяца полтора, от силы два, а потом, в зависимости от состояния здоровья, или на выписку, или в русский госпиталь, находившийся там же, в Великом Тырнове. Последнее почти всегда означало, что положение человека безнадёжно и ему просто предоставляют возможность умереть на больничной койке, а не на улице. К счастью из сергиевской четверки никто туда не попал, — подлечив нас и подкормив, всех выписали и мы возвратились в Тырново-Сеймен.

В опустевшую после производства юнкеров казарму к этому времени вселили русскую Галлиполийскую гимназию, тут снова забурлила жизнь, но остаткам сергиевцев удалось сохранить за собой только офицерское собрание, несколько комнат для чинов кадра, да небольшое полуподвальное помещение, раньше служившее для каких-то хозяйственных надобностей, — туда пришлось переселиться всем молодым офицерам.

Когда мы приехали из санатории, в этом общежитии было неуютно, холодно и голодно. За тусклыми подвальными окошками, на уровне глаз смотрящего расстилался унылый плац, покрытый смешанным с грязью снегом. Внутри, на земляном полу стояло десятка полтора деревянных топчанов, застланных казарменными одеялами; на вбитых в кирпичные стены гвоздях были развешены шинели, куртки, штаны и прочие принадлежности офицерского и рабочего туалета. Обстановку дополняли деревянный стол, несколько табуреток и стоявшая посреди комнаты круглая печка, с жестяной трубой, выведенной наружу через дыру, проделанную в одном из окон. За неимением дров, топилась она редко и чем Бог пошлёт: с наступлением темноты все чаявшие тепла

отправлялись на добычу и не пренебрегали ни одним деревянным изделием, за которым не было надлежащего присмотра. Печка наша за зиму поглотила целиком казарменный сарай, курятник, большинство соседних заборов, все скамейки, которые на ночь забывали убрать со двора и множество иных случайных находок, не говоря уж о сложенных на чердаке запасных топчанах и классных досках. Но всё же в подвале почти всегда было холодно и сыро.

В эту пору года единственную возможность заработка давала тут так называемая "обрешта", т. е. перекопка земли под виноградники. Но и эту работу далеко не всегда можно было найти, к тому же, в силу небольшой величины крестьянских участков, она быстро кончалась. Таким образом, из зимовавших в казарме офицеров кое-кто временами находил обрешту и отлучался, а человек десять-двенадцать всегда сидели в этом подвале, без работы и без денег. Полковник Мамушин, из скудных средств имевшихся в его распоряжении, скрепя сердце согласился втечение зимы оплачивать своим безработным три ежедневных пайка, получаемых из кухни гимназии, — их по-братски делили на всех. Вдобавок к этому, кое-что удавалось брать в кредит из маленькой частной ловчонки, которая образовалась при Сергиевском училище еще в юнкерские времена. Всё это давало возможность впроголодь существовать, а иной раз, — когда кому-нибудь удавалось что-то подработать, — в подвале устраивался пир, и в этих случаях, кроме колбасы и хлеба, на столе тут можно было увидеть даже халву и вино.

После санатории применяться к таким условиям жизни было трудновато. Шинель, положенная на голые доски топчана и солдатское одеяло, в качестве второй и последней постельной принадлежности, весьма мало общего имели с мягкой и теплой санаторской постелью, а о довольствии что уж и говорить! Мамушин по случаю нашего приезда добавил на всю подвальную братию еще один, четвертый паёк, и с таким приданным мы включились в общую жизнь группы.

Несмотря на подобную мизерию, эта жизнь особенно скучной или монотонной не была. Мы жили дружно, перед посторонними высоко держали свою марку, искусно притворялись сытыми и развлекались как могли: ухаживали за старшими гимназистками (что требовало постоянного напряжения ума и изобретательности, т. к. их держали взаперти), играли в винт и преферанс, время от времени общими силами выпускали рукописный журнал на злобы дня, благо в составе группы были люди хорошо владевшие пером и один отличный художник каррикатурист.

Однажды ненастным утром в казарму пришел какой-то болгарин селяк и сказал, что ему нужны рабочие на виноградник. В нашем подвале в этот момент никого не было, кроме меня и Кедрина, — одного из моих компаньонов по санатории. Работу мы не искали, — к этому никак не располагал декабрьский холод, — но когда она сама нас нашла, грешно было отказываться, т. к. пустой желудок тоже предъявлял свои претензии. Договорившись с болгарином и без труда найдя еще четверых желающих, на следующее утро мы отправились к месту действия. Это было небольшое село Райнево, в нескольких километрах от Тырново-Сеймена.

Обрешта была тяжелой и к тому же очень неприятной работой, ибо производилась она только в зимние, самые ненастные месяцы. Землю надо было вскапывать на глубину шестидесяти сантиметров, т. е. на два лопатных штыка, причем к лопате, для упора ноги еще прикреплялась особая скоба, позволявшая копать глубже. Отмерив полосу в метр шириной и во всю длину поля, один рабочий вскапывал ее на глубину тридцати сантиметров, выбрасывая весь этот верхний слой наружу; затем вскапывал на такую же глубину второй слой, оставляя землю на дне образовавшейся канавы. Другой рабочий, ведущий смежную полосу, свой верхний слой перебрасывал в канаву первого, третий в канаву второго и т. д. Работа оплачивалась сдельно и для того, чтобы она шла споро и продуктивно, нужно было, чтобы все участники обладали одинаковой выносливостью, ибо один отстающий задерживал всех остальных.

День выдался теплый, лежавший на поле снежок быстро таял, обращаясь в слякоть. Почва нам попалась глинистая, земля мертвой хваткой липла к сапогам и к лопатам, то и дело надо было их очищать. После полудня временами принимался идти дождь, тогда работу приходилось бросать и отсиживаться в стоявшем тут же, на винограднике, шалаше. К вечеру мы изрядно намаялись, промокли, а выработали совсем мало, но несколько воспрянули духом после того, как хозяева накормили нас вкусным, невероятно перченым мясным соусом с фасолью и даже поднесли по стаканчику сливовицы. Наевшись до отвалу, все отправились спать в отведенный нам пустой овин.

В течение следующих трех дней погода стояла сносная, слегка подмораживало и работа пошла лучше. Можно было бы выгонять приличную "надницу",[2]) но этому препятствовал своего рода тормоз, находившийся в механизме нашей группы. Дело в том, что с нами, пятью подпоручиками, выразил желание отправиться на обрешту училищный адъютант, капитан Арнольд, — человек неуживчивый и неприятный. Хотя ему самому в ту пору не было и тридцати лет, сойтись ближе с молодыми офицерами он не умел или не хотел, любил при всяком удобном случае, а то и просто от плохого настроения, "напоминать", "ставить на место", "подтягивать", — вообще держал себя так, чтобы мы чувствовали, что он нам не ровня. Это еще куда ни шло в казарме, — там его старшинство было неоспоримо, — но совершенно нелепо выглядело на работе, где молодежь превосходила его и в сноровке, и в проявлениях товарищества. Естественно, его общество не доставляло нам никакого удовольствия, но отказать было неудобно и мы его с собою взяли, а он, со своей стороны, сумел заставить нас горько об этом пожалеть.

Работал он медленно и вяло, брюзжал и портил настроение всем остальным. Приписывая это его "старости", мы деликатно старались в полную силу не гнать, но всё же он далеко отставал, задерживая работу дру-

---

[2]) Надница — дневной заработок.

гих. Наконец Земсков, — самый дюжий из всех, закончив полосу в то время когда Арнольд не дошел еще и до половины своей, направился на помощь последнему. Но едва он воткнул в землю лопату, адъютант перестал копать и прошипел:

— Вы что, желаете этим показать, что я плохо работаю?

— И в мыслях того не имел, — ответил Земсков. — Но мы работаем артелью и если я свою полосу закончил раньше других, не стоять же мне теперь сложа руки!

— Я прекрасно понимаю почему вы свою полосу кончили раньше других: гнали нарочно и лезли из кожи, чтобы показать, что я не в состоянии с вами тягаться! Ну что ж, извините, я в батраки не готовился. На этой почве охотно уступаю вам пальму первенства, да и самую почву тоже. Честь имею кланяться, господа!

— Да полно, Олег Максимилианович, никто из нас и не думал... — попробовал я поправить дело, но Арнольд сразу оборвал меня:

— Я вам, подпоручик Каратеев, не Олег Максимилианович, а господин капитан! Понятно?

— Не совсем: в подобной обстановке величание по чинам мне кажется не особенно уместным.

— Так вот, пусть не кажется! Здесь вам не Совдепия, — ни чинопочитание, ни уставы не отменены. Забываться начали, милостивый государь! Да потрудитесь смирно стать, когда со старшим разговариваете!

— Возьми ему, Миша, лопатой на караул, — громко сказал мой закадычный друг Вася Смирнов, стоявший сзади. Арнольд круто повернулся и бросил на него испепеляющий взгляд, но ничего больше не сказал и ушел с поля.

Этот инцидент произвел на всех тяжелое впечатление. Дело пошло вяло. Излишне чувствительный Земсков, считая что Арнольд бросил работу по его вине, в порядке самонаказания вечером тоже нас покинул. На следующий день заболел Кедрин, у него был сильный жар и болело горло, надо было вести его домой, что и для остальных послужило поводом к уходу. Не без труда вырвав у хозяина плату за сделанное и обещав прислать ему новых рабочих, мы возвратились в казарму.

У Кедрина оказалась ангина. Но осмотрев его, наш училищный доктор, Павел Константинович Лебедев, нашел ухудшение и в легких. Затем принялся выстукивать и выслушивать меня и двух других лёгочников, всё более при этом хмурясь. Закончив, молча зашагал по комнате из угла в угол, потом внезапно остановился и сказал:

— Ну, вот что, господа: при таком образе жизни все санаторские достижения пойдут у вас на смарку и дело может обернуться совсем погано. Надо что-то предпринять и тут я вижу только одну возможность: за нами в казарменном лазарете оставлена палата и мы имеем право на паёк для четырех госпитальных больных. Таковых у нас пока нет, — занимайте-ка вы эти места и живите там до наступления лета, по крайней мере будете спать в тепле и нормально питаться, без необходимости мёрзнуть и мокнуть на обреште. К сожалению, это всё, что я могу для вас сделать.

Но и это была отнюдь не малость. Ведь по существу никто из нас на положение госпитального больного претендовать не мог, и если бы на месте этого гуманного и благородного врача сидел какой-нибудь формалист или сухарь, каких много повсюду, — я сейчас, полвека спустя, едва ли писал бы эти строки. Троим из нас доктор Лебедев сохранил жизнь, а четвертый, Кедрин, умер года три спустя.

3. КАЛУГЕРОВО

В двенадцати километрах от нашего городка, возле маленькой железнодорожной станции Калугерово, находился цементный завод, для которого добывался гипс в расположенном поблизости открытом карьере. Об этом мы знали давно и кое-кто из сергиевцев попытался там устроиться сразу же после окончания училища. На самом заводе был небольшой и постоянный штат рабочих, — туда никого из русских не приняли, а на гипсовый карьер человек десять взяли. Но проработали они там недолго, ибо условия были отвратительны: десятичасовый рабочий день, причем разработка велась на совершенно открытой местности, всё время под палящими лучами солнца, а воды поблизости не было, — ее откуда-то издалека подвозили на вьючном осле, но в количестве далеко не достаточном и рабочие постоянно томились от жажды. Надзиратель, одноглазый болгарин, грубый и злой, как носорог, кричал и штрафовал за всякий пустяк; работа оплачивалась поденно и очень низко, да еще вдобавок при первой же выплате почти всех обсчитали. Вследствие этого, все наши оттуда со скандалом ушли и больше никто из русских на Калугерово не совался.

Но теперь, едва миновали холода и повсюду началось весеннее оживление, в казарму нежданно-негаданно явился представитель цементного завода и сообщил, что сейчас возле Калугерово пустили в ход второй гипсовый карьер, для которого требуется еще несколько десятков рабочих. Русским будет предоставлен отдельный барак и кухня для приготовления пищи, а если их наберется больше тридцати человек, то завод будет им, по

общей ставке, оплачивать и "готвача" (кашевара). Питьевой воды гарантируется достаточное количество, а заработная плата всем, кто работал в прошлом году, будет по 75 левов в день, новичкам же — в зависимости от оценки надзирателя, но не меньше шестидесяти-пяти.

— А надзирателем будет, конечно, одноглазый дьявол? — спросил кто-то из "прошлогодних".

— Нет, он остался на старом карьере, а на новом поставлен бай[1]) Койчо.

Этот ответ успокоил скептиков: Койчо в минувшем году был помощником Одноглазого и все его знали, как человека спокойного и справедливого.

В казарме к этому времени скопилось много безработных сергиевцев и кубанцев, все они за зиму по уши влезли в долги, которые теперь надо было отрабатывать. В эту пору года получить какую-нибудь работу в сёлах было еще трудно, поиски ее, даже при удаче, отняли бы немало времени, а тут, на Калугерово, можно было начинать сразу же. Платили, правда, неважно, но зато работа была постоянной и к тому же обеспечивала возможность жить всем вместе, — в итоге этих соображений желающих отправиться на разработку гипса нашлось сорок-восемь человек, в том числе даже несколько штаб-офицеров. Сборы был недолги. В тот же день после обеда мы выехали поездом и час спустя были уже на месте.

Верстах в трех от железнодорожной станции, на пологом косогоре, покрытом кустарником и редкими деревьями, стояли два досчатых барака, каждый вместимостью человек на пятьдесят, — один из них предоставили нам, а в другом жили рабочие болгары, приехавшие на заработки из северных провинций. Чуть в стороне ютился небольшой сарай, в котором хранились инструменты и возле него примитивная, открытая кухонька. Самый карьер, где добывался гипс, находился на версту дальше. Внизу, у подножья косогора, протекал довольно широкий ручей, с хорошей водой, а по дру-

---

[1]) Слово «бай» у болгарских крестьян добавлялось к имени пожилых и почтенных людей, — вроде русского «дядя».

гую его сторону, не далее полукилометра, разбросалось село Асеново.

В бараке, по обе стороны узкого прохода, тянулись двухъярусные нары, на которых мы расположились с нашим немудреным скарбом. Окна отсутствовали, но днём внутри было достаточно светло, т. к. стены изобиловали щелями и дырами, а вечерами зажигался керосиновый фонарь. Крыша протекала сравнительно умеренно, что позволяло во время дождя устроиться так, чтобы никого не поливало. Вобщем всё было бы терпимо, если бы не огромное количество клопов, которые гнездились в стенах и в нарах.

Нужно сказать, что клопы в Болгарии так же вездесущи и неистребимы, как муравьи в Южной Америке, но человеку они докучают стократ больше, ибо ночами от них нет никакого спасения. В этой стране ни одного жилья, — будь то городской особняк, деревенский домишко или одиноко стоящая в лесу хижина, — без клопов не существует. Они есть, — или, во всяком случае в моё время были, — в любой гостиннице, в вагонах и в залах ожидания железнодорожных станций, в школьных партах, в конторской мебели и даже в нежилых помещениях. Более того: и под открытым небом, если вы ляжете сравнительно недалеко от дома, они вас быстро найдут. Все ухищрения и методы борьбы с ними бессильны, — в казарме мы применяли кипяток, керосин, нафталин, полынь и всевозможные патентованные снадобья, выжигали клопов паяльными лампами, ставили ножки кроватей в банки с водой, — всё было тщетно.

Тут, на земляном полу калугеровского барака, вдобавок кишели блохи, так что первую ночь мы почти не спали. В дальнейшем сну способствовала усталость, да и блох удалось несколько смирить при помощи больших количеств керосина и персидского порошка.

Поднявшись с рассветом, мы напились чаю, получили у магазинера инструменты и отправились на карьер, где работа начиналась в семь часов утра и, с двухчасовым перерывом на обед, продолжалась до семи вече-

ра. Велась она самым примитивным образом: ряд рабочих, — человек двадцать пять, — кирками подбивая и обрушивая стену невысокого обрыва, измельчали комья падающей глины, руками выбирали вкрапленные в нее куски гипса и сбрасывали их в кучи; позади каждого стояло два рабочих с лопатами, — они нагружали отработанную глину на вагонетки и отвозили ее на свалку, а за гипсом приезжали запряженные лошадьми телеги и везли его на завод.

Так как вагонетки стояли на одной общей линии рельсов, ехать на свалку они могли только все одновременно, а потому грузить их следовало согласованно, поглядывая на соседей, ибо если некоторые оказывались нагруженными раньше других, надзиратель начинал орать на отставших. При нормальном ходе работы темп давала передняя вагонетка, — все остальные ровнялись по ней. Таким образом, если на неё попадали толковые и рассудительные люди, они работали не торопясь и всё шло хорошо: никто на линии не выбивался из сил, молчал и бай Койчо. Но если рабочие на первой вагонетке, желая перед ним отличиться, начинали грузить быстро, — жарко приходилось всем и тогда не оставалось ничего иного, как проучить зарывающихся очень простым, но верно действовавшим способом: самые дюжие ребята на линии начинали гнать с такой быстротой, что первая вагонетка за ними, при всём напряжении сил, поспеть не могла и тогда гнев надзирателя обрушивался на нее, ибо в ожидании пока она догрузится, сзади люди демонстративно усаживались на землю и курили. Обычно два-три часа такой "дышловки" навсегда отбивали передним охоту выслуживаться и всё входило в норму.

Учитывая всё это, мы предоставили переднюю вагонетку двум пожилым полковникам, полагая что их возраст и благоразумие обеспечат всему карьеру спокойную и мирную жизнь. Но тут мы жестоко просчитались: в вожделениях о максимальной "наднице", полковники старались во-всю, упорно не понимая наших толстых намеков и предостережений. Оба они в частной жизни были хорошими и милыми людьми, но всё же, ради общего блага, на следующий день пришлось обуздать их вышеописанным способом, а сейчас все возвратились с работы из-

рядно усталыми и наскоро поужинав стали устраиваться ко сну.

Памятуя прелести предыдущей ночи, почти все собирались сегодня спать на лоне природы, но к вечеру небо оделось темными тучами, следовало ожидать дождя и потому, после недолгих прений, большинство решило ночевать в бараке.

— А ты как думаешь, Васька? — спросил я Смирнова.

— Идем спать наружу, — ответил он. — Дождь едва ли начнется раньше полуночи, а до тех пор нам обеспечено несколько часов спокойного сна. В крайности, если во-время не проснемся, ну вымокнем немного пока добежим до барака, подумаешь, большая важность!

У нас нашлось человек семь восемь единомышленников. Собрав свои монатки, хорошенько осмотрев их и вытрусив, мы отошли шагов на тридцать от барака и расположились табором на травке. Пока мы устраивались, совсем стемнело. Окрестности наполнились голосами цикад и лягушек, на горизонте попыхивали зарницы, да ветерок доносил из села запах цветущих яблонь.

— Экая благодать, — умилился лежавший рядом со мной Кедрин.

— И ни одного тебе клопа, — отозвался я, и в тот же миг почувствовал, что по лицу моему что-то оживленно забéгало. Я придавил это нечто пальцем, в надежде что имею дело с какой-нибудь невинной букашкой, но отвратительный и столь знакомый запах сразу показал, что наши восторги были преждевременны. Между тем со всех сторон посыпалась ругань, свидетельствуя о том, что клопы атаковали и других. Снова вытрусив и выколотив свои постельные принадлежности, мы отошли от барака на добрых полкилометра и улеглись в чистом поле. Тут клопов как будто не было, а может нас просто сморила усталость и мы все почти сразу заснули мертвецким сном.

Было уже далеко за полночь, когда меня разбудил голос Кедрина:

— Миш! Мишка! Да проснись же наконец, колода!

— А какого черта? — пробормотал я. — Дождь начался, что ли?

— Дождя нет, небо чистое. Но вот высунь-ка башку из-под одеяла и послушай.

Я приподнялся на локте и прислушался. К нам быстро приближался какой-то нарастающий шум, похожий на топот бегущей толпы.

— Что за дьявольщина? Будто сюда бежит целая рота солдат!

— Откуда им тут взяться? Это что-то другое.

— Да, но что? Может быть подземный шум и сейчас начнется землетрясение? Надо бы разбудить ребят, — промолвил Кедрин и в ту же минуту мы увидели, что из темноты на нас катится какой-то бесформенный серый вал.

— Эй, народ! — заорал я во все горло, вскакивая на ноги. — Просыпайся живее и драпай!

— В чем дело? От кого драпать? — раздались голоса.

— А черт его знает... — больше я ничего не успел добавить, т. к. в это время вал, оказавшийся огромным стадом чем-то перепуганных овец, налетел на нас. Я и все те, кто успел выскочить из постелей, мгновенно были сбиты с ног и сочли за лучшее лежать неподвижно, уткнувшись носами в землю и закрывая руками головы, до тех пор пока овечьи копыта не перестали барабанить по нашим спинам.

— Ну, как, все живы? — спросил я, подымаясь на ноги. Жертв среди нас не оказалось, — если не считать того, что Кедрину слегка оттоптали ухо, — все были целы и невредимы, отделавшись легким массажем. Некоторые даже не успели во-время проснуться и только теперь начали понимать что произошло. Смирнов успел схватить за ногу одну из топтавших его овец и яростно тузил ее кулаком по спине; незадачливая овца, не столько от боли, как от испуга, отаянно орала под акомпанимент наших дружных проклятий, которые, впрочем, скоро сменились смехом.

Самым неприятным последствием этого налёта бы-

ло то, что овцы посеяли у нас в лагере изрядное количество блох, которые испортили нам остаток ночи.

Разбуженный чьей-то изощренной руганью, я высунул голову из-под одеяла и огляделся. Уже рассвело, вокруг нас стелился белесый туман, а посреди поляны в нижнем белье стоял Смирнов и потрясая кулаками, весьма красочно и прямолинейно выражал свое недовольство Болгарией, царем Борисом и всеми его министрами, дирекцией калугеровского завода, овцами, клопами, блохами и в особенности почему-то собаками.

— Вот чертов будильник, когда же у тебя завод кончится? — садясь на своей постели спросил хорунжий Крылов, вместе со мной и Смирновым составлявший дружную и почти неразлучную конноартиллерийскую тройку. Будучи по рождению казаком, он взял вакансию в донскую артиллерию, но, как и все мы, был оставлен при Сергиевском Артиллерийском Училище.

— А в чем все-таки дело? — полюбопытствовал он.

Дело оказалось в том, что у Смирнова, а также почти у всех остальных, пастушьи собаки повытаскивали из-под голов сумки, в которых, вместе с умывальными принадлежностями, хранились хлеб и брынза для утреннего завтрака, — мы их прихватили с собой, чтобы спасти от изобиловавших в бараке крыс. Теперь эти сумки, разгрызенные и опустошенные, валялись вокруг нас в поле. У Крылова, бывшего большим эстетом, собаки сожрали даже кусок душистого мыла, а у Кедрина деревянную коробочку с цинковой мазью.

— Вот же проклятущая болгарская зоология! — возмущался последний. — Такого даже у Брэма не найдешь: овцы топчутся по ушам, а собаки питаются медикаментами!

Через несколько дней к этим прелестям ночевок на лоне природы прибавилась еще одна, уже более серьезная: в постель одного из кубанцев заползла сколопендра и его укусила. Укус этой твари очень опасен, нередко даже смертелен, особенно к концу лета, когда она нагуляет силу. Положение осложнялось тем, что до ближайшего врача или аптеки было пятнадцать километ-

ров и ночью отвезти туда пострадавшего не было никакой возможности. Пришлось действовать самим: мы выдавили ему из раны много крови, а затем прижгли ее раскаленным гвоздем, давши предварительно, вместо анестезии, чайный стакан крепкой сливовицы. Утром отправили в город и все окончилось благополучно.

После этого случая клопиные акции сильно поднялись и количество "дачников" заметно уменьшилось, — из двух зол публика выбирала меньшее.



На гипсовом карьере.

4. РИСОВОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ

Первая неделя работы на гипсовом карьере прошла без каких-либо происшествий, если не считать того, что однажды нас захватил сильнейший ливень с грозой и т. к. иного укрытия не было, пришлось перевернуть вверх колесами вагонетки и, забравшись по три человека под каждую, провести часа полтора в положении свернувшихся ежей.

В работу мы быстро втянулись. Надзиратель бай Койчо был мужик неплохой, он никого не заставлял лезть из кожи и покрикивал больше в целях самосохранения: в те далеко не синдикальные времена так надзирателю полагалось, и если бы он на рабочих не кричал, его самого очень скоро выгнали бы вон.

Солнышко припекало уже изрядно, а потому мы, русские, снимали с себя рубахи и работали по-пояс голыми, что вначале сильно возмущало "братушек". В Южной Болгарии в ту пору еще весьма заметны были следы турецкого влияния. Так, например, в сёлах ели не за столами, а на полу, усаживаясь в кружок, со скрещенными ногами, причем женщины только прислуживали мужчинам, а насыщались потом отдельно; ничего похожего на какие-нибудь ухаживанья, посиделки или совместное времяпровождение парней и девушек не допускалось, — даже при случайных встречах на улице, они не могли обменяться несколькими словами и старались не глядеть друг на друга. В разговорную речь вплетали много турецких слов, и одевались мужчины тоже по-турецки, только вместо фесок носили черные барашковые шапки. Их костюм, сделанный из очень толстой шарстя-

ной материи темно-коричневого цвета, состоял из суживающихся книзу штанов с широченной мотней, жилета и куртки, — всё это надевалось на толстое шерстяное белье, сверх того на брюхо наматывался черный шерстяной шарф в несколько метров длиной, а на ноги, до колен, белые, суконные онучи. Так болгары одевались зимой и летом, в таком же облачении и работали, в жару позволяя себе сбросить лишь куртку. Наиболее передовые снимали иной раз и жилет, но снять рубаху считалось уже вопиющим неприличием.[1]) Поэтому не удивительно, что наши облегченные туалеты шокировали болгар и первое время они нас считали явными развратниками ("развалéна хóра"). Потом попривыкли и только не переставали удивляться — как у нас на солнцепёке не облазят спины? Буквально ни один болгарин не мог пройти мимо, не задав осточертевшего нам вопроса:

— Братушка, неужели у тебя не обгорает спина?

Если спрошенному этот вопрос уже не набил оскомину и он отвечал благодушно, болгарин, в порядке продолжения беседы, задавал ему второй, столь же непременный вопрос, примерно такого рода:

— Братушка, а есть ли у вас в России лопаты? — Вместо лопаты тут могли фигурировать кирка, вагонетка, бутылка, сигарета, кирпич, даже дерево или пробегавшая мимо курица, вообще любой предмет, который в этот момент попадался на глаза спрашивающему. И наконец следовал третий традиционный вопрос:

— Братушка, а почему ты не возвращаешься к себе, в Россию?

Когда к кому-нибудь из нас на работе приближался незнакомый болгарин, человек уже знал, что ему не миновать этих сакраментальных вопросов, от которых он, — в зависимости от темперамента и настроения, — или отшучивался, или отругивался. Впрочем эти при-

[1]) Справедливость требует отметить, что это не была только лишь внешняя, показная целомудренность: как нравы, так и общий моральный облик простого болгарина были несомненно чище, чем у других славян. Здесь, например, совершенно немыслимо было услышать ту мерзкую ругань, которая буквально не сходит с языка югославов, даже в присутствии собственных жен и дочерей.

ставания носили добродушный характер, о чем свидетельствовало само обращение — "братушка". Значительно реже применялось к нам и другое: "русский". Оно сразу позволяло понять, что вы имеете дело или с коммунистом, или с человеком немецкой ориентации. Такие состоянием наших спин не интересовались и о наличии в России лопат и кирпичей не спрашивали, но зато третий вопрос задавали особенно прочувственно.

Рабочих болгар изумляла также наша расточительность. Перед выходом на карьер, мы утром пили чай с хлебом и салом или брынзой, а на обед и ужин готовили какое-нибудь густое варево, обильно приправленное жирами, причем ели вволю и после еще запивали сладким чаем. Такое довольствие обходилось в день по 14-15 левов на едока, т. е. пятую часть того, что он зарабатывал, и мы считали, что это совсем недорого.

Болгарские крестьяне, хотя и были рассчетливы, в еде себе тоже не отказывали. Но у приехавших сюда на заработки "севернаков" дело было поставлено иначе: в основном они питались размоченными в горячей воде сухарями, а иной раз баловали себя довольно хитроумными бутербродами: на большой ломоть хлеба клался крошечный кусочек брынзы или одна маслина, причем, по мере поглощения хлеба, эта декорация отпихивалась носом всё дальше и съедалась только с последним глотком. При такой системе питания у наших коллег болгар заработок почти целиком шел в кубышку и глядя на наши "пиршества", они говорили:

— Работаете вы на своё брюхо и до смерти останетесь бедняками. Лу́да хо́ра (Сумасшедшие люди).

Кстати, с довольствием у нас дело наладилось не сразу. На первых порах кашеваром был единогласно провозглашен один из кубанцев, войсковой старшина Дьяченко, прославившийся изготовлением замечательных закусок на всех наших казарменных празднествах. В первый же день работы он угостил нас супом, который не посрамил бы и первоклассного ресторана, но с точки зрения людей, нагулявших волчий аппетит на тяжелой работе, в нем было непростительно мало гущи

и перед этим блекли все его достоинства. Однако мы безропотно выхлебали этот суп, отчасти из уважения к штаб-офицерскому чину "готвача", а еще более потому, что молодой и веселый Дьяченко, — гитарист и чудесный исполнитель цыганских романсов, — был всеобщим любимцем. Несколько дней мы ели его изысканную стряпню, и чем тоньше делались наши талии, тем толще становились намёки на неуместность всяких жюльенов и рататуев при таком тяжелом физическом труде. Кончилось тем, что под давлением общественного мнения Дьяченко подал в отставку и народ собрался для выборов нового кашевара.

На вопрос — кто возмется готовить еду в соответствии с общими пожеланиями, т. е. погуще и пожирней, последовало единодушное молчание. Затем было названо несколько кандидатов, но все они отклонили предложенную им честь, ссылаясь на скудность своих кулинарных познаний. И наконец кто-то выкрикнул мою фамилию, припомнив, что в период прошлогодних странствований я однажды сварил из подручных материалов очень недурной кулеш.

Застигнутый врасплох этим выдвижением, я начал было отказываться, но потом подумал: — а почему бы нет? Не боги же варят кашу! Кроме кулеша, я вполне способен приготовить вареный картофель с луковым соусом и с салом, сумею сварить фасоль, не спасую, пожалуй и перед макаронами. На этом уже можно продержаться два дня, до ближайшего воскресенья, а там смотаюсь в Сеймен и наберусь у знакомых дам еще какой-нибудь кухонной премудрости. Работать же кашеваром куда лучше, чем махать целый день киркой или лопатой, — никто на тебя не кричит и пока варится пища, можно заняться каким-нибудь своим делом, например, написать письмо, постирать бельишко, а то и просто вздремнуть где-нибудь в холодке. Быстро прикинув всё это в уме, я еще немного покочевряжился для приличия, а потом дал свое согласие.

Следующая неделя вполне оправдала мой оптимизм. Дама, за которой я ухаживал, была не очень сильна в области артельно-рабочей гастрономии, но всё же она

обогатила мой кулинарный репертуар рецептами изготовления бараньего рагу, галушек и мясного супа с овощами. С этим я уже почувствовал под собою твердую почву и был уверен, что в грязь лицом не ударю.

Чтобы сразу покорить свою прожорливую клиентуру, я начал с галушек. Строго придерживаясь полученной формулы, замесил тесто, раскатал его, порезал на кусочки и всыпал их в котел с кипящей водой. Они, как камни, пошли на дно, но это меня не обескуражило, т. к. я знал, что галушки сами должны всплыть на поверхность, когда будут готовы. Однако, этого повидимому не знали многие галушки: изрядная их часть, обратившись в монолит, настолько прочно прилипла ко дну котла, что после мне пришлось отбивать их зубилом. Но по счастью я наготовил столько теста, что и тех, которые благополучно всплыли, вполне хватило чтобы насытить артель и моя маленькая неудача прошла незамеченной. Зато суп и рагу удались на славу и окончательно укрепили мою поварскую репутацию.

Больше недели публика ела мою стряпню и похваливала, но однажды какой-то недорезанный гурман во всеуслышанье заявил:

— Готовишь ты, Миша, знатно, но вот о существовании риса видимо позабыл, а это штука неплохая. Расстарайся-ка на какое-нибудь рисовое шамало!

— Да, было бы недурно поразнообразить наше меню рисовой кашей или пловом, — поддержали другие.

Риса я с детства терпеть не мог и потому совершенно забыл поинтересоваться способами его приготовления. До воскресенья, когда можно было бы восполнить этот пробел, оставалось еще четыре дня, которые я попытался выгадать, но публика всё настойчивее требовала риса и наконец я решил, — была не была, попробую сварить рисовую кашу без всяких шпаргалок. Задача эта вобщем представлялась мне не трудной и не знал я только одного: засыпа́ть ли рис в холодную воду или в кипяток? Пораскинув умом, решил, что надо сыпать в холодную и принялся действовать.

Продукты я с вечера заказывал в лавочке соседне-

го села, до которой было от нас не более километра, и утром мне их доставляли на ишаке. По аналогии с картошкой и макаронами, я рассудил, что риса надо купить по пол килограмма на едока, для ровного счета двадцать пять кило на сорок восемь человек. Потом меня взяло сомнение, — а вдруг не хватит? и я на всякий случай прикинул еще десять кило, благо рис стоил очень дешево.

Кухня наша представляла собой стоявшую на полянке кирпичную плиту, в которую были вмазаны два железных котла, один большой, вёдер на десять, для приготовления пищи, и другой поменьше, для чаю. Сверху, чуть выше человеческого роста, эта плита была прикрыта легеньким жестяным навесом, а отапливалась она дровами. Я налил в большой котел воды, высыпал туда полученный мешок риса, развёл в топке огонь и по опыту зная, что варево закипит только часа через полтора, прилёг под ближайшим кустом и почти сразу заснул.

Привиделся мне сон чрезвычайно приятный: будто подходит ко мне сам генерал Врангель в белой черкеске и отечески-ласково говорит: "дорогой поручик, ну ваше ли дело варить тут этот паршивый рис? Пусть этим занимаются китайцы, а вас я давно ищу чтобы произвести в следующий чин и назначить старшим офицером конно-артиллерийской батареи. Как раз есть свободная вакансия в третьей гвардейской!"

В восторге от такой блестящей перемены в моей судьбе, я проснулся, открыл глаза и был потрясен зрелищем, которое им представилось: там, где еще недавно стояла кухонная плита, теперь возвышался громадный белый конус, своей вершиной почти достигавший крыши. Через равные промежутки времени оттуда, как из жерла вулкана, вырывались клубы пара, извергая новые потоки рисовой лавы, которые по склонам конуса медленно сползали на землю, вокруг плиты.

Совершенно не понимая причины этого катаклизма, я заметался вокруг рисовой горы, как хорёк в курятнике. Ненароком взглянул на часы, до обеденного переры-

ва оставалось около полутора часов, — хватит ли этого времени, чтобы скрыть следы моего позора?

Схватив лопату, я наполнил рисом стоявший поблизости деревянный ящик и отволок его в гущу кустов. Возвращаясь обратно, с ужасом заметил, что ландшафт кухонной местности после этого почти не изменился. В моем распоряжении имелось еще три ведра и два пустых мешка из под картошки, — тоже набил их рисом и запрятал в кустах. Теперь на свет Божий, — как египетский сфинкс из под песка, — выглянула плитá, но чтобы полностью ее откопать и овладеть положением, пришлось нагрузить рисом еще и большое корыто, которое служило нам для стирки белья. После этого, действуя метлой и тряпкой, я окончательно очистил местность, закопал рисовую грязь в землю и вздохнул с облегчением.

У меня еще хватило времени доварить оставшийся в котле рис и заправить его маслом. Подошедшая с работы братия с удовольствием уплетала рисовую кашу, не подозревая о разыгравшейся здесь трагедии.

На ужин я продублировал ту же кашу, использовав для этого рис покоившийся в корыте, т. к. оно в любой момент могло кому-нибудь понадобиться и его принялись бы искать. Кое-кто удивился, — опять рисовая каша?

— Не рассчитал и сварил на обед слишком много, — ответил я. — Не выбрасывать же ее собакам, там одного сливочного масла больше килограмма.

— Правильно, — раздались голоса. — Какие там собаки! Сами съедим, каша вкусная.

На следующий день я приготовил к обеду наваристый мясной суп и заправил его ведром риса из моих резервов, а на ужин соорудил грандиозный плов с бараниной. Ели его с обычным аппетитом, но всё же кто-то заметил:

— Что то наш готвач черезчур увлёкся рисовыми блюдами.

— А не сами ли вы приставали ко мне целую неделю с этим рисом? — огрызнулся я. — Вот теперь и жрите его, покуда вам не обрыднет!

Всё же использовать до конца этот "вулканический" рис мне не удалось, — остатки его пришлось тайно предать погребению. С той поры не только сам этот злак, но и всё что с ним ассоциируется, — до китайского народа включительно, — пробуждает во мне подозрительность и крайнее недоверие.

Работа наша на Калугерово продолжалась недолго и в духе того времени и балканских нравов, закончилась внезапно и не вполне благополучно. Платить нам должны были каждые две недели, но когда настал день первой получки, администратор завода с извинениями сообщил, что произошла задержка с высылкой денег из главного управления, которое находится в Софии, и потому с нами полностью рассчитаются в кенце месяца, а пока могут дать лишь небольшой аванс. Это нам очень не понравилось, — тут почувствовалась какая-то каверза, — но получки все-таки нужно было дождаться.

Наконец этот день наступил и бай Койчо, выкликая нас по номерам, начал раздавать конверты с деньгами, присланные с завода. Сразу со всех сторон послышались недоуменные вопросы и проклятия: почти всем заплатили меньше, чем полагалось по условию. Мне было посчитано всего пять дней работы, нескольких дней не хватало и у Дьяченки. Мы заявили об этом надзирателю.

— За те дни, когда вы работали на кухне, дирекция не заплатила, — пояснил бай Койчо. — Готвачей должны оплачивать сами рабочие.

— Вот проклятые ворюги! — возмутились мы. — Да ведь по условию должен платить завод!

— Я об этом ничего не знаю. Что мне дали, то и раздаю, а если вы недовольны, идите и разговаривайте с тем, кто заключал с вами это условие.

После долгой ругани и недолгих дебатов, все русские решили немедленно бросить работу. Собрав свои монатки, мы отправились прямиком на цементный завод и заявили, что хотим говорить с директором. Вышедший к нам чиновник сказал, что он в отъезде, а без него никто не в праве вступать с нами в переговоры и что-либо менять в условиях. На это мы ответили, что

если так, расположимся тут лагерем и будем ждать возвращения директора, а до тех пор никого из завода не выпустим и туда никого не впустим.

Через полчаса директор нашелся. Сам он выйти к нам побоялся, но уполномочил на переговоры кассира. В результате Дьяченке и мне тут же было уплачено всё, что нам причиталось, а остальным еще раз торжественно общали, что в случае возвращения на работу, с этого дня всем будут платить максимальную "надницу", т. е. 75 левов. Поверили этому и остались человек пятнадцать, а остальные отправились прямо домой, в казарму.

5. ЖИТЕЙСКИЕ МЕЛОЧИ

В казарме нас ожидали две новости: во-первых, все задержавшиеся в Тырново-Сеймене офицеры нашего училищного персонала, семейные и холостые, на днях уезжают в Софию, куда был официально переведен кадр Сергиевского Артиллерийского Училища. С нами остаются только начальник группы полковник Мамушин и капитан Федоров, — хозяин офицерского собрания и находившейся при нем продуктовой лавочки. Это событие для нас, молодых офицеров, имело положительную сторону: в казарме освобождаются четыре большие, светлые комнаты, куда мы сможем теперь перебраться из подвала.

Вторая новость была еще приятней: приближалась Пасха, и Мамушин нам сообщил, что к этому празднику съедутся все сергиевцы работающие в относительной близости, т. е. около пятидесяти человек, с тем, чтобы отговеть и провести пасхальную неделю вместе, по офицерски. После заутрени намечаются общие разговины, а потом еще два торжественные пиршества, — одно в своем семейном кругу, второе с приглашением кунаков-кубанцев, которые, разумеется, ответят нам тем же. Повседневные трапезы тоже будут совершаться по возможности совместно, в нашем собрании, а в субботу праздничная программа закончится устройством шикарного "белого бала" (офицеры должны быть в белых гимнастерках, а дамы в белых платьях), на который будут приглашены все дамы и барышни русского гарнизона, включая старших гимназисток. На оплату всех этих увеселений каждый участник должен внести чистоганом пятьсот левов и, конечно, помогать в устройстве празднеств своим личным трудом.

От всех этих пасхальных перспектив мы пришли в полный восторг и тут же выложили Мамушину по пять сотенных билетов из нашего калугеровского заработка, еще не тронутого перстами расточительности. Полковник, который знал, что надо ковать пока горячо, записал полученное и наставительно сказал:

— Вижу, что на развлечения у вас деньги сразу нашлись. Но, как серьезные люди, вы, конечно, подумали и о своих долговых обязательствах? Ведь касса взаимопомощи пуста и каждый из вас должен в нее по несколько сот левов. — Мамушин любил длинные речи и потому после этой увертюры пустился в пространные рассуждения о пользе кассы взаимопомощи и о нашем легкомысленном отношении к жизни. Терпеливо всё это выслушав, мы, в свою очередь, принялись сетовать на тяготы бытия и на плохие заработки. В результате последовавшей за этим торговли, пришлось уплатить еще по триста левов в кассу взаимопомощи.

За вычетом расходов на довольствие, табак и всякие мелочи, от месячного заработка у нас оставалось в среднем по 1 200 левов, а у кого и меньше. Из того, что уцелело после свидания с Мамушиным, все поспешили заказать к предстоящему балу одинаковые белые гимнастерки, разумеется самые тонные, из шелковистой материи и гвардейского фасона: длина от пояса вниз 35 сантиметров, широкие рукава с манжетами и накладные карманы — "клёш". Это каждому сократило капитал еще на полтораста левов. Ну, и конечно, все считали, что возвращение в казарму необходимо ознаменовать общей пирушкой, иными словами по сотне левов было сразу же пропито и денег почти не осталось.

Правда, всё что связано с предстоящими праздниками в основном было уже оплачено, но сверх того каждому хотелось располагать некоторой суммой карманных денег "для представительства", и остающиеся до Пасхи две недели позволяли кое-что подработать. А потому, проведя в казарме два-три дня, все разбрелись по окрестностям, в поисках какой угодно "быстротечной" работы.

Из нашей конноартиллерийской тройки Крылов при-

мазался к кому-то из нашедших работу тут же, в Сеймене, а мы со Смирновым, прихватив вместо него Тихонова, наудачу отправились в село Свирково, расположенное километрах в семи от города. Здесь один крестьянин предложил нам выкопать у него во дворе колодец. По его предположениям, до воды тут было около девяти метров, — он судил по глубине соседского колодца, в который мы тоже не преминули заглянуть; попробовали грунт, он был твердым и глинистым. Рассчитывая при удаче закончить в четыре дня, мы договорились работать сдельно, за полторы тысячи левов на хозяйских харчах.

И нам повезло: под метровым слоем глины пошел чистый песок, а воду нашли на глубине неполных восьми метров. Работу мы окончили на третий день к вечеру и положив в карманы по пятьсот левов чистоганом, очень довольные возвратились в казарму, да еще в этом же селе получили заказ на десять тысяч штук самана,[1]) условившись что начнем после Пасхи.

У Крылова дело обернулось значительно хуже. Он, в компании с двумя другими сергиевцами, за семьсот левов взялся покрыть черепицей небольшой домик на самой окраине города. С утра хозяин уехал в поле, оставив им черепицу, лестницу и полную свободу действий. Как сам Крылов, так и оба его сподвижника о кладке черепицы имели весьма смутное представление, а потому, когда под вечер возвратился хозяин, едва взглянув на крышу он схватил валявшийся во дворе кол и со страшными проклятиями устремился к приставленной к дому лестнице. Но сообразительный казак успел во-время втащить ее наверх.

Началась осада: незадачливые мастера сидели, как коты, на крыше, а хозяин, захлебываясь матерщиной бегал вокруг дома и бесновался внизу. Когда он выдохся и немного поостыл, начались переговоры, во время которых Крылов проявил замечательные дипломатические способности: он высказал предположение, что если

---

[1]) Саман — крупного формата необожженный кирпич из глины с примесью соломенной трухи.

бы русские не освободили Болгарию, сейчас на крыше сидел бы сам хозяин, а внизу ожидал бы его турок с дрючком или даже с ятаганом. Братушкино сердце смягчилось и в результате был заключен мирный договор, по которому все три "мастера" получили право беспрепятственно отправиться домой и даже выторговали себе по шестьдесят левов за проработанный день, т. к. в качестве полезной деятельности им было засчитано то, что половину черепицы они подняли с земли на крышу.

За несколько дней до Пасхи в казарме собралось уже много народу и полным ходом пошли приготовления к празднику. Мамушин взял в оборот всех без исключения: одни белили и приводили в порядок комнаты, куда мы должны были переселиться из подвала, другие украшали офицерское собрание, третьи таскали из окрестностей древесные ветви и прочую зелень, из которой плели гирлянды и декорировали праздничный зал, словом работа нашлась каждому.

Будучи "крепаком",[2]) Мамушин "конников" недолюбливал и в душе не считал их полноценными артиллеристами. Не помню уж куда он упёк Смирнова и Крылова, а меня отправил за десять километров, в большое село Златицу, чтобы принести оттуда яйца, масло и творог, которые заготовил для пасхального стола работавший в этом селе сергиевец, подпоручик Иванов.

Шел я не торопясь и в Златицу прибыл около полудня. Иванов, который и по выпуску и по возрасту был старше меня, работал тут сборщиком яиц для какой-то экспортной фирмы. Без особого труда я разыскал его в коморке, при местном дукьяне.[3]) где он имел свою постоянную резиденцию. Когда я вошел, он лежал в углу, на куче соломы и мечтательно глядел в потолок.

— Исполать тебе, Левушка! — приветствовал я его. — Вижу, ты тут изнемогаешь в непосильном труде.

— А, здравствуй, Миша! — бодро ответил Иванов, садясь на своем соломенном ложе. — Вот это здорово,

---

[2]) Крепаками мы называли офицеров крепостной артиллерии.

[3]) Дукьян — трактир, кабак.

что ты пришел, а то я уже почти два месяца живу один, среди этих троглодитов и просто подыхаю от тоски.

— Ты, значит, лежишь, тоскуешь, а яички сами к тебе сбегаются?

— Да ну их к дьяволу! Я уже давно заработал себе всё, что требуется на праздники, а чтобы преждевременно не растратить эти деньги, решил до самой Пасхи оставаться здесь, где жизнь мне ничего не стоит. И теперь собираю яиц ровно столько, чтобы хватало мне на яичницу.

— Что же, рассудил ты мудро. В казарме у Мамушина так не полежал бы, там от него никому нет спасения. Вот, к примеру, меня он пригнал сюда за продуктами для пасхального стола. Надеюсь, хоть их-то ты приготовил?

— Ну, а как же! Уж для общего блага я расстарался: четыре кило масла и семь творога лежат у хозяина в леднике, а четыреста яиц вон в тех ящиках.

— Четыреста яиц! — ужаснулся я. — Жаль что тебя не разбил паралич прежде чем ты их собрал! Ведь мне придется переть их в Сеймен на своем горбе.

— Ничего, у меня есть две специальные корзины, которые пристраиваются на лямках, одна спереди, другая сзади. Да не так оно и страшно, все эти яйца весят не больше двадцати пяти кило, по опыту знаю. Выйдешь под вечер, когда спадет жара и помаленьку дотащишь. А сейчас время обеденное, надо подзакусить.

— Яичницей?

— Не обессудь, чем богат, тем и рад. Моя обычная порция — двадцать яиц, разумеется, с подобающим количеством сала. Но если ты очень голоден...

— Нет, ежели с салом, то и мне двадцати пожалуй хватит, — скромно ответил я.

Как я уже упоминал, нам часто приходилось жить впроголодь, но когда мы бывали при деньгах и где-нибудь в пути, за неимением иных яств, надо было заправляться яичницей, двадцать — двадцать пять яиц на брата считалось нормальной порцией. Болгар наши аппетиты приводили в трепет.

Помню, однажды мы с Калиновским, кое-что подра-

ботав, возвращались откуда-то издалека в казарму и часа в четыре дня, усталые и голодные, зашли в попутное село с намереньем чем-нибудь подкрепиться. В такой час сельские дукьяны обычно пусты, — хозяин одиноко сидел за стойкой и читал газету. Мы заказали ему литр вина и яичницу из пятидесяти яиц. Не выразив ни малейшего удивления, он поставил нам на стол бутылку вина и стаканы, а сам отправился на кухню.

— Гляди, даже не покачнулся старик, — засмеялся Калиновский. — Сразу видно, что русские тут уже бывали.

Через четверть часа появился хозяин и не взглянув на нас снова уселся за газету.

— А яичница? — поинтересовались мы.

— Уже готова, — был лаконический ответ.

— Так где же она?

— Я ее поставил в духовку, чтобы не остыла пока подойдет ваша компания.

— Какая еще компания?! Гони ее сюда!

— Как? Вы вдвоем собираетесь ее съесть? Это невозможно!

— А вот сейчас увидишь.

Болгарин принес огромный противень с яичницей и столбом стоял возле нас, пока мы ее поглощали. В это время он еще что-то бормотал, но видимо потерял дар речи, когда после яичницы мы съели еще большой арбуз.

Однако, возвращаюсь к событиям дня. Желая внести свою лепту в предстоящую трапезу, я сказал Иванову, когда он появился из кухни и поставил на пол противень с благоухающей глазуньей:

— Не есть же ее всухомятку! Финансирую приобретение двух литров вина.

— Сейчас принесу, но денег не нужно: вино и водку тут мне отпускают бесплатно.

— Здорово! Чем же ты так обворожил кабатчика?

— А вот, за едой расскажу, если хочешь. — Он снова вышел, принёс бутыль вина и мы подсели к яич-

нице, скрестив по-турецки ноги. Иванов наполнил стаканы, и когда мы немного заморили червяка, начал свое повествование:

— Так вот, дело в том, что у нашего дукьянщика есть компаньон. Он живет в Сеймене и финансирует предприятие, а дукьянщик даёт свой труд. В силу такого положения, к двадцатому числу каждого месяца он должен подводить баланс для отчета этому компаньону. Бухгалтерия, конечно, несложная, но сам он малограмотен и справиться с этим не может, — все подсчеты делал ему сельский учитель, единственный тут человек способный на подобный взлёт научной мысли. И за это учитель пользовался правом бесплатно пить в этом кабаке сколько угодно вина и ракии. Так у них шло издавна, но вот, в прошлом месяце они из-за чего-то повздорили и учитель наотрез отказался считать. Подходит двадцатое число, когда приезжает компаньон, а баланса нет! Хозяин в панике, он по натуре трепло и балагур, а тут вижу — словно подменили человека. Ну, ненароком разговорились и рассказал он мне о своей беде. Я и говорю: это дело плёвое, давай сюда твои записи!

— "Неужто сможешь подсчитать? — спрашивает. — Наш солдат нипочём бы не смог!“ — Я им всем, конечно, говорю, что в России был простым солдатом. Принес он мне свою приходо-расходную тетрадь и десятка два счетов, сразу же засел я за них, подвел баланс и часа через три отнёс ему, — готово, братушка. Не хотел верить, собачий сын! "Врешь, говорит, просто хочешь выпить на шермака и наворотил тут чего попало. Разве это возможно за три часа сосчитать! Даже учителю для этого нужно было три дня!“ Однако, на следующий день приехал компаньон, — человек городской и хорошо грамотный, — просмотрел он мой баланс и говорит дукьянщику: "это первый раз у тебя отчетность в полном порядке и без ошибок“. Вот с той поры я тут и в почёте, а кроме того служу предприятию живой рекламой: меня расславили как великого учёного и народ валит в кабак, чтобы посмотреть на такое чудо. Уже предлагали, что попрут своего учителя, если я соглашусь занять его место.

— Ну, а ты?

— Да ну их в болото! За полторы тысячи в месяц закопаться в такой дыре, где высшим олицетворением мировой культуры служит этот кабак! Благодарю покорно! Я здесь уже совершенно опупел за каких-нибудь два месяца, и после Пасхи определенно меняю профессию. Пусть яйца собирает медведь, а я лучше подамся на шахту или в Калугерово, чтобы работать среди своих.

— А пока суд да дело, живешь, значит, на винно-водочном гонораре?

— Да, но дукьянщику и тут повезло: я пью мало, а учитель изрядный пропойца и обходился ему много дороже.

За разговорами мы прикончили яичницу, допили вино и растянувшись на соломе проспали до пяти часов вечера. Перед тем как пуститься в обратный путь, я еще успел, при содействии Иванова, до изумления дешево купить килограмм великолепного контрабандного табаку, которым славилась Златица. Непосвященный читатель вероятно удивится: в классической стране табаководства, где табачное поле имеет почти каждый крестьянин, и вдруг контрабандный табак? Поясню, что в Болгарии государство держало монополию на продажу сигарет и спичек, а все иные виды курева и способы зажигания были строжайше запрещены. В силу этого противоестественного закона, все местные селяки-табаководы, как и прочее население, обязаны были покупать дорого стоющие сигареты, а своего табака не имели права ни резать, ни курить, — надлежало сдавать его скупщикам в листьях. Но на деле, конечно, и резали и курили, сворачивая цыгарки из газетной бумаги, — с этим бороться было фактически невозможно и местные власти на такие самокрутки смотрели сквозь пальцы. Но когда ловили кого-нибудь с трубкой, зажигалкой или папиросной бумагой, штрафовали нещадно, если дело не улаживалось при помощи взятки. Мы были в лучшем положении: несколько сергиевцев служило в пограничной страже, на близкой от Тырново-Сеймена греческой границе, они снабжали нас контрабандной папиросной бумагой, а табак мы покупали у окрестных крестьян. И надо сказать, что такого превосходного табака я за всю жизнь больше нигде не курил.

На заходе солнца, нагруженный как верблюд, я тронулся в путь. С такой кладью приходилось часто останавливаться, чтобы отдохнуть и ночь меня застала верстах в четырех от Сеймена. Это меня ничуть не встревожило, дорогу я знал хорошо и был уверен, что не собьюсь, а никакие иные опасности мне не угрожали. Так я, во всяком случае, думал, но дальнейшее показало, что в этом ошибся. В степи повсюду паслись стада овец и при каждом из них непременно бывало по нескольку свирепых овчарок. Днем они на прохожих особого внимания не обращали, но ночью в каждом подозревали злоумышленника и шутки с ними были плохи. Не успел я в темноте пройти и версту, как меня атаковало полдюжины здоровенных псов.

Подбежав к ближайшему кусту и тем защитив свой тыл, я поставил корзины с яйцами на землю и принялся шарить вокруг, в поисках камней или комьев засохшей грязи, но их не было и мне пришлось отстреливаться от собак яйцами. Я метал их одно за другим и когда какое-нибудь с треском разбивалось о собачью морду, утешался тем, что труды Левушки Иванова пропадают не совсем зря. По счастью к месту сражения довольно скоро подоспел пастух и унял свое четвероногое воинство. Остаток пути я совершил без приключений, и вынужденную растрату трех дюжин яиц Мамушин мне великодушно простил.

6. ПАСХАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

На страстной неделе мы начали говеть, не прекращая в то же время предпраздничной деятельности. Особенно спешили с покраской и оборудованием новых аппартаментов, куда мы должны были к Пасхе перебраться из подвала. Наконец в четверг все четыре комнаты были готовы и мы принялись там устраиваться.

По распоряжению Мамушина, чрезвычайно любившего подобного рода литературу, на дверях каждой комнаты были наклеены поименные списки десяти ее обитателей, расписание богослужений и общих трапез, обязанности дежурного по помещению и полный перечень имевшегося в нем инвентаря. Последний состоял из десяти топчанов, стольких же ночных столиков, одного большого стола, двух скамеек, керосиновой лампы, двух ведер и деревянного корыта. Тут надо пояснить. что ни электричества, ни водопровода в казарме не было, и дежурный по комнате должен был приносить воду для умывания из колодца, находившегося довольно далеко, на плацу.

Мы, трое конников, опередив своих сожителей по комнате, заняли самый уютный угол, возле большого окна и детально ознакомились с обстановкой, на что отнюдь не потребовалось много времени.

— Живем богато, — промолвил Смирнов, прочитав инвентарный список. — Особенно меня умиляет корыто. Это уже явный предмет роскоши.

— Шутки шутками, ребята, а действительно не мешало бы повысить культурный уровень нашего бытия, — сказал Крылов. — Доколе, например, мы будем спать на голых досках, без матрасов?

— Ишь, чего захотел, казак! Ты бы уж заодно размахнулся и на простыни! А деньги тебе царь Борис пришлет, или американский дядя?

— Три матраса я попробую достать бесплатно. У кубанцев есть лишние, оставшиеся еще с юнкерских времен, они зря лежат где-то в цейхгаузе. Поговорю с полковником Кравченко, он душа-человек и наверняка нам это дело устроит.

— А у меня есть идея насчет простынь, — добавил я.

— Тоже достанешь бесплатно? — усомнился Смирнов. — Какая же это идея?

— Пока ее не проверю, ничего не скажу. После обеда выясню.

Сговорившись пока держать наши намеренья втайне от остальных, мы принялись действовать. Крылов отправился добывать матрасы, Смирнов взялся выяснить возможности приобретения подушек, а я приступил к осуществлению своей идеи. Заключалась она в том, чтобы для себя и своих друзей открыть кредит в универсальном и самом лучшем в городе магазине, где можно было приобрести всё, что нам нужно. Хозяином этого магазина был очень симпатичный болгарин, отставной артиллерийский офицер Бургелов, который благоволил к русским и все мы его хорошо знали. Поладить с ним удалось без всякого труда, и не только насчет простынь: он предложил давать нам в долг всё что потребуется, с тем, что платить мы будем по мере возможностей. Забегая вперед скажу, что в дальнейшей жизни это нас сильно выручало, но, как водится, медаль имела и обратную сторону: из долгов мы не вылезали и львиная доля наших заработков шла в кассу Бургелова.

Удача нам сопутствовала во всем: Крылов достал отличные матрасы, Смирнову в местном, летевшем в трубу отельчике согласились по сто левов продать три подушки, — за них мы не поморщившись заплатили наличными. Затем все трое отправились к Бургелову, взяли у него простыни, наволочки, пижамы и большой отрез красивой материи, из которой одна знакомая дама к ве-

черу соорудила скатерти на наши столики и нечто вроде стенного ковра.

К ночи, когда сошлись все обитатели комнаты, они были сильно удивлены, узрев на наших топчанах матрасы и подушки. Удивление это возрастало по мере развития дальнейших событий: мы прибили в своем углу ковер, развесили на нем оружие, застелили столики красивыми скатертками, а матрасы белоснежными простынями, после чего облачились в пижамы и полезли в свои роскошные постели.

— Ай да конники! — раздались голоса. — Вот это врезали! Как же вы ухитрились всё это добыть?

Немного поломавшись, мы открыли карты. Как следствие этого, в течение двух ближайших дней все более или менее уравнялись с нами в области культурных достижений и к Пасхе комната приняла вполне приличный и даже уютный вид. Было постановлено всё рабочее барахло держать в ящиках, под постелями, дабы ничто тут не омрачало офицерских взоров и не напоминало о грустной действительности.

К началу заутрени наша гарнизонная церковь наполнилась народом. Слева, сверкая золотом погон на белых гимнастерках, стройными рядами стояло несколько десятков офицеров сергиевцев; справа сияли серебряные погоны кубанцев. Службу с подобающей торжественностью вёл священник Кубанского училища отец Димитрий Трухманов, пел великолепный хор, а путь крестного хода вокруг казармы заранее был украшен зеленью, цветами и разноцветными фонариками. Казалось, что всё это происходит не в чужой стране, в обстановке изгнания, а в каком-нибудь небольшом гарнизоне нашей старой, патриархальной России. Впрочем Болгария, — хотя мы ее иной раз и поругивали, — не была для нас такой уж чужой страной. Нигде мы себя не чувствовали настолько "своими", как здесь, и во всех других славянских странах к русским относились несравненно менее сердечно, а о не-славянских что уж и говорить!

После заутрени был сделан получасовый перерыв, во время которого все перехристосывались, а начальство, — наше и кубанское, — обменялось короткими поз-

дравительными визитами в офицерских собраниях. Затем все отстояли литургию и в два часа ночи приступили к розговинам.

Благодаря хозяйственным способностям Мамушина, наш пасхальный стол выглядел совсем как в былые, счастливые времена. Белоснежные скатерти, на них куличи, сырные пасхи, окорока, жаренные индейки, блюда приютившихся в зелени крашенных яиц, бесчисленные закуски, бутылки, цветы... В последний раз я по-настоящему встречал Пасху дома, в 1916 году, будучи двенадцатилетним кадетиком. Это было восемь лет назад, там, во граде Китеже... Сколько с тех пор пережито! Родного дóма давно нет, и семья у меня теперь другая, — вот эта, что сияя золотом погон и молодостью лиц усаживается со мною за стол.

Вид всего этого праздничного убранства вероятно не только у меня пробудил подобные мысли, но радость момента быстро отвлекла нас от грустных воспоминаний о безвозвратно ушедшем прошлом, — сегодня и настоящее искрилось счастьем. За веселыми разговорами розговины затянулись до пяти часов утра. И хотя заготовленным яствам в полной мере было отдано должное, всего еще осталось столько, что в одиннадцать часов, разбуженные, как встарь, трубным сигналом, мы привели себя в порядок и снова уселись за столы, доедать и допивать оставшееся. Впрочем, в этот день пили умеренно, чего, будучи честным, нельзя сказать о состоявшемся на следующий день обеде, — на него были приглашены кубанцы и он проходил под тайным лозунгом "накачать кунаков". Кунаков накачали, но и сами накачались изрядно. День спустя, кубанцы дали блестящий реванш, однако внешне все было вполне прилично и благопристойно. Ни одного пьяного, или, как у нас было принято говорить, "усталого" офицера посторонний глаз не увидел, ибо трупы павших внутренними коридорами разносили по комнатам их более крепкие товарищи.

Весь остаток недели, но уже на более скромных началах, мы обедали и ужинали вместе, в нашем собрании. Наконец подошла суббота, день Белого бала. Он устраи-

вался в большом казарменном зале, в котором имелась и театральная сцена с занавесом. Этим помещением пользовались для устройства вечеринок, балов, концертов и спектаклей, все обитатели казармы, т. е. сергиевцы, кубанцы и гимназия.

Кстати, сто́ит посвятить несколько слов этой последней. Она была основана во время пребывания Белой армии в Галлиполи, — учились в ней исключительно дети военных, а в старших классах преобладали юноши уже и сами отведавшие войны. Педагогический персонал состоял из офицеров, имевших университетское образование, и всё было поставлено на полувоенную ногу. По переезде в Болгарию, когда наша армейская казна иссякла, эта гимназия перешла на иждевение Союза Городов и новые хозяева начали искоренять в ней военный дух. Многих прежних преподавателей и воспитателей "земгусары" заменили своими людьми, — эти смотрели на нас волками и нашими симпатиями, разумеется, не пользовались, но с остатками старого, военного персонала мы были в дружеских отношениях, так же как и с некоторыми гимназистами-офицерами, — таковых было человек десять. Это были главным образом подпоручики, выпущенные из пехотных военных училищ, куда принимали людей с незаконченным средним образованием, а также некоторые добровольцы, на войне произведенные за боевые отличия, — среди этих был даже один гимназист в капитанском чине. Чтобы дать им возможность получить аттестат зрелости и поступить в высшие учебные заведения, их в русские заграничные гимназии принимали, хотя и не особенно охотно.

Старших гимназисток было немного, — около двадцати, и большинство из них, в силу событий, тоже шло с некоторым опозданием, так что нам, молодым офицерам, тут не стыдно было ухаживать даже за пятиклассницами. Впрочем, одна пышная шестнадцатилетняя девица, так называемая "папина Маруся", была в ту пору всего лишь в первом классе. Жили они в особом интернате и держали их в строгости.

В течение минувшей зимы гимназия устроила три

концертно-танцевальных вечера, очень скромных по осуществлению и к тому же платных. В противоположность этому, мы решили дать настоящий бал, со входом по именным пригласительным билетам и даже с бесплатным угощением дам и барышень мороженным и прохладительными напитками. Для мужчин был предусмотрен обильный и недорогой буфет. Чтобы не ударить лицом в грязь, приготовления к этому балу начались задолго и в последний день оставалось лишь завершить коекакие мелкие детали.

Зал был убран великолепно. Деревянные колонны, шедшие вдоль него двумя рядами, были сплошь декорированы свежей зеленью и увиты бумажными лентами национальных, георгиевских и романовских цветов. На окнах висели кремовые занавески, украшенные крупными Сергиевскими вензелями, а в простенках между окнами — одинаковые, превращенные в ковры коричневые одеяла, и на них портреты белых вождей и всевозможное оружие. На театральный занавес, закрывавший сцену, почти во всю его величину было нашито изображение нагрудного знака Сергиевского Артиллерийского Училища, — двуглавый орел, под ним перекрещенные пушки, а в центре большое славянское "С", охватывающее щит с Георгием Победоносцем. В одном углу зала была оборудована уютная гостинная, с мягкими креслами и диванами, украшенная коврами и панно, работы наших художников, а в другом — буфет с богатейшим ассортиментом закусок и бутылок. Но подлинной сенсацией и чудом нашей техники являлся фонтан, бивший из круглого бассейна, который был сооружен в центре зала, посреди выложенной дёрном клумбы с красивой решеткой. Для осуществления этой идеи, на чердаке была поставлена огромная бочка с водой, из нее по одной из колонн провели хорошо замаскированную трубку и под полом вывели ее конец к центру бассейна. Последний был сделан из оцинкованного железа и раскрашен под мрамор.

В этот бассейн предполагалось пустить золотых рыбок, но мы их не достали и в последний момент решили заменить лягушками и черепахами, которые водились в протекавшей поблизости речёнке. За этой земноводной

живностью в субботу после обеда были посланы Тихонов и я. Накупавшись вволю, мы без особого труда поймали четырех черепах и штук пятнадцать лягушек, доставили их в казарму и выпустили в бассейн. Однако лягушки оттуда упорно выскакивали и ошалело прыгали по залу, что приводило в отчаянье Оссовского, — главного распорядителя предстоящего бала.

— Они же нам всех дам распугают, — сокрушался он. — Мишка, ты их принёс, ты и укроти! Придумай что-нибудь, чтобы они вели себя прилично, или придется от них вообще отказаться.

Идея у меня мелькнула сразу, но я решил не продешевить и сказал:

— Гм . . . Тут потребуется большое напряжение ума, а может быть и воли, если, например, придется лягушек гипнотизировать. Словом я берусь за это дело только с условием, что в случае успеха меня сегодня не будут больше беспокоить никакими нарядами и поручениями.

Оссовский изъявил согласие, после чего я удачно поставил лягушек на якоря: каждая была за лапку привязана к лежавшему на дне камешку, — длина нитки позволяла ей плавать в бассейне, но выскочить наружу она не могла.

Покончив с этим делом я отправился к Бургелову и ввиду предстоящего события взял у него в долг флакон одеколону, пакетик мыльного порошка и коробку хорошей пудры, — в ту пору после бритья было принято пудрить лицо. Увидев там же, у Бургелова, круглую деревянную коробочку, покрытую художественной резьбой, в наплыве эстетических чувств прихватил и её. Возвратившись домой, я пересыпал пудру в эту коробочку, а мыльный порошек для бритья — в освободившуюся коробку из-под пудры, и расставил все свои приобретенья на ночном столике.

Когда стемнело, все обитатели нашей комнаты почти одновременно навели на себя красоту и отправились в зал, куда уже начала собираться публика. В силу каких-то причин задержался только один из моих сожителей, Павел Залесский, за своей почтенный двадцатишестилетний возраст и скрипучий голос прозывавший-

ся у нас Дедом. Он пришел в уже опустевшую комнату, быстро побрился и сполоснул физиономию, но своей пудры у него не было. В подобных случаях у нас отнюдь не считалось грехом воспользоваться косметикой кого-либо из товарищей, — Дед огляделся и заметив на соседнем столике нужную ему коробочку, попудрился при слабом свете керосиновой лампы и поспешно завершив туалет, устремился в зал, откуда уже слышались звуки полонеза.

Белый бал был открыт очень эффектным номером: когда зал наполнился приглашенными, поднялся театральный занавес и все увидели стоявшую на сцене пушку, — точное подобие настоящей, — и при ней полный орудийный расчет, в форме юнкеров САУ. Стоявший сбоку фейерверкер начал громко подавать команды, предшествующие открытию огня. Гости с любопытством глазели на это зрелище, в уверенности, что тут стопроцентная инсценировка, но по команде "огонь!" неожиданно грянул выстрел и вся находившаяся в зале публика была обсыпана разноцветными конфети, которыми было заряжено орудие. После этого духовой оркестр заиграл полонез и начался бал.

Залесский был влюблен в гимназистку седьмого класса Аню Донскую (на которой впоследствии женился), а потому, войдя в зал когда полонез уже кончился, направился прямо к ней. Аня сидела на одной из скамеек, поставленных вдоль стен и спиной опиралась на висевший тут ковер. Полепетав с нею минуты две, Дед заметил, что с этого ковра на белое платье его дамы сердца перебрался упитанный клоп и не торопясь пополз по плечу, направляясь к шее. Но артиллеристы народ находчивый:

— Аничка, на вас уселась божья коровка, разрешите я ее сниму, — самым естественным тоном промолвил Залесский, не дожидаясь разрешения схватил клопа и бросил его на пол. В это время заиграли вальс, Дед с поклоном звякнул шпорами и подхватив Аню закружился с нею по залу. По-началу всё шло прекрасно, но когда он слегка вспотел, лицо его начало неистово чесать-

ся. Внезапно потеряв дар речи, Залесский ёжился и мотал головой, а Аня с удивлением и ужасом наблюдала, как физиономия её кавалера покрывается клочьями белой пены.

Едва кончился вальс, Дед поблагодарил свою даму и пробормотав какое-то извинение, бросился вон из зала, на ходу обтирая лицо носовым платком. По пути он чуть не столкнулся со мною. Заметив у него на щеках и на шее белые разводы, я удивился и сочувственно сказал:

— Ты, Дед, до конца бала нипочём не выдержишь, если на первом же вальсе покрылся мылом, как запаленный мерин.

— Чем зубоскалить, ты мне лучше скажи, что за дрянь у тебя пудра?

— Дрянь моя пудра?! Да это Коти, лучшая марка из всех существующих в природе, — возмутился я, и тут меня внезапно осенила догадка. — Погоди, Дед, ты попудрился из коробочки, что стоит у меня на столе?

— Ну да, чёрт бы побрал твоего Коти и всех его родичей!

— Тогда всё понятно, — сквозь хохот ответил я. — Там у меня мыльный порошок, так что приободрись, это у тебя не от старости. Пойди сполосни свой портрет водой и смело приглашай Аню на мазурку.

Бал прошел исключительно удачно и весело. Особенный успех имел вальс-котильон, разнообразные фигуры которого всю ночь чередовались с другими танцами. Разошлись только в пять утра.

Под вечер следующего дня на плацу почти экспромтом состоялось всеобщее гулянье, — играл наш духовой оркестр и пел прекрасный офицерский хор. Этим завершились праздничные развлечения и снова наступили рабочие будни.

7. САМАН

С наступлением тепла в окрестных сёлах начинались обычно всевозможные хозяйственные постройки, материалом для которых служил почти исключительно самáн. В те времена в Южной Болгарии из него были построены не только все сельские жилища и службы, но и добрая половина городских зданий, — лишь самые крупные из них и домá богатых людей строились из обожженного кирпича.

Производство самана весьма несложно, но это работа настолько тяжелая и грязная, что сами крестьяне до нее не унижались и в случае надобности заказывали саман посторонним рабочим. Раньше этим занимались преимущественно цыгане, но с нашим появлением дело перешло почти исключительно в русские руки.

Поелику так или иначе приходилось жить тяжелым физическим трудом, наиболее сильные и выносливые из нас даже предпочитали саман всем иным видам доступного нам заработка. Тут были следующие преимущества: работа, при хозяйских харчах, оплачивалась сдельно и довольно высоко, — поднаторившись и поднажав можно было выгонять от ста-пятидесяти до двухсот левов в день, т. е. в три-четыре раза больше чем на постройке или на гипсовом карьере; кроме того, тут мы бывали совершенно независимы, — никто не стоял над душей, не кричал и не понукал; кормили хозяева почти всегда хорошо, обычно давали и табак, никаких расходов не было и заработок оставался весь целиком. Но особенно нравилось нам то, что эта работа шла с неизбежными перебоями: заказы на саман редко превыша-

ли десять-двенадцать тысяч штук, при благоприятной погоде на это уходило дней шесть-семь. В большинстве случаев в том же селе сразу подворачивался второй заказ, но третий уже редко, таким образом, проработав пару недель, можно было на законном основании возвратиться в казарму и до нахождения новой работы, (а точнее — доколе хватит заработанных денег) пожить в своё удовольствие и побренчать шпорами под окнами женского интерната гимназии.

По окончании пасхальных празднеств, наша обычная тройка, пополненная Тихоновым, отправилась в село Свирково, где мы уже имели большой заказ на саман. Выступили на рассвете и первые полчаса шли молча, поёживаясь от утренней прохлады. Хотелось спать и мысль о предстоящей тяжелой работе — особенно в сопоставлении с прожитой по-человечески неделей, — угнетала душу, поднимая в ней чувство бессильного протеста против преследующих нас несправедливостей судьбы. Но всё же, когда из-за дальнего холма выглянуло солнце, по обочинам дороги заалели яркие маки, а степь наполнилась бодрящим птичьим гомоном, мы почувствовали, что мир Божий не так уж плох, повеселели и разговорились.

— А у кого мы, собственно, будем работать? — спросил Крылов. — Имя и фамилия этого джентельмена мне, понятно, без надобности, но интересно, можно ли у него надеяться на хороший харч?

— Всё пока покрыто мраком неизвестности, — ответил Смирнов, нашедший этот заказ. — Саман нужен какой-то вдове, но об условиях еще разговора не было.

— А как вдова, еще не старая? — заинтересовался казак.

— Какая бы ни была, ты, востропузый гаврилыч, не вздумай с нею заигрывать. Это тебе не русская деревня, в два счета ноги переломают, а то и прирежут.

— Ну, а всё таки, на что похожа эта вдовица?

— Я ее не видел. О том, что ей нужен саман мне сказал в кабаке ее свояк, и объяснил где она живет. Сейчас с нею и будем ладиться.

Придя в село, вдову мы отыскали без труда, но никакого толку добиться от нее не смогли. Со свойственной болгарским женщинам несамостоятельностью, она сказала только, что саман ей действительно нужен, но сколько именно — она не знает, о цене тоже не имеет представления и "править пазарлык"[1]) следует с ее свояком. Последний оказался человеком толковым и мы с ним сговорились быстро.

Условия тут были не совсем обычны: по здешним понятиям нам ,холостым мужчинам, жить у вдовы было неприлично, и потому нас приютит у себя местный дукьянщик, ее дальний родственник. Согласно тому же кодексу турецкой благопристойности, харчить в доме вдовы нам тоже не подобает, ей даже неудобно было на посторонних мужчин готовить еду и порешили на том, что она нас будет снабжать продуктами не требующими особого приготовления, — на завтрак и на обед ее сынишка будет приносить эти продукты к месту работы, а на ужин в дукьян, где мы будем ночевать. Напирая на то, что такая постановка дела сопряжена для нас с большими неудобствами, мы выторговали несколько повышенную цену, — 320 левов за каждую тысячу штук самана, тогда как нормально платили левов на сорок меньше. И в заключение заказ был увеличен с десяти тысяч на двенадцать.

Когда ударили по рукам было уже десять утра. "Свояк" нагрузил телегу соломенной трухой, туда же положил инструменты и мы выехали на околицу. Возле каждого села для выделки самана обычно существовало особое место, которым по мере надобности пользовались все. Выбиралось оно с таким рассчетом, чтобы в непосредственной близости находился какой-нибудь ручей или иной источник водоснабжения, а вокруг было достаточно ровного места для выкладки и просушки готового самана. Почти всегда там уже бывала и просторная яма для заготовления материала. Впрочем, чтобы читателю всё это было понятней, вкраце опишу сущность саманного производства.

В яме, — кирками обваливая ее края и углубляя дно,

---

[1]) «Править пазарлык» — заключать договор, уславливаться.

а затем измельчая крупные комья мотыгами, — заготовляют толстый слой рыхлой земли, затем льют туда достаточное количество воды и сыпят соломенную труху. Всё это надо хорошенько перемешать и вымесить, для чего рабочие в одних трусиках влезают по колени в эту густую грязь и слегка помогая себе мотыгами, топчутся в ней до тех пор, пока не распустятся в воде все комочки земли, и месиво (которое по-болгарски называется калом) не приобретёт желаемой консистенции. Разумеется, к концу этой операции тела́ и лица рабочих настолько густо покрываются грязью, что их не узнала бы и родная мать.

Затем приступают к выкладке. Для этого один из рабочих, горделиво именуемый мастером, вооружается деревянной формой, которая представляет собой низкий ящик без дна, разделенный перегородками на десять одинаковых отделений.[2]) Эта форма смачивается водой из стоящего рядом ведра и кладется на землю; два других рабочих на носилках подносят из ямы соответствующую порцию "кала" и вываливают ее в форму, затем возвращаются к яме, где четвертый рабочий при помощи лопаты снова нагружает носилки. Мастер между тем особой дощечкой разравнивает принесенный материал, так чтобы он хорошо заполнил все отделения формы, потом эту форму осторожно поднимает и сбрызнув водой устанавливает рядом для следующего десятка кирпичей. И так от рассвета до темноты...

Эта работа, как уже было сказано, давала отличный заработок, но была каторжно тяжела, особенно в нашем оформлении. По существу, спешить нам было некуда и, казалось бы, можно работать не надсаживаясь и не слишком торопясь, хотя дневной заработок при этом был бы несколько ниже максимально возможного. Но у нас была особая психология: день проведенный в рабочей обстановке считался как бы потерянным для жизни, независимо от того — легка́ работа или тяжела́, иными словами, значение для нас имело потерянное

---

[2]) Если нужны были кирпичи особо крупного размера, форма делалась на восемь или даже на шесть отделений.



На самане. Справа налево: Л. Оссовский, М. Каратеев, А. Баранченко и Н. Харченко.

на работе время, а не затраченное усилие. И потому если какую-нибудь сдельную работу, не вылезая из кожи, можно было сделать, скажем, за три дня, мы предпочитали вылезти из кожи, но окончить ее за два.

Так бывало и на самане. Начинали мы работу за час до восхода солнца и кончали уже при звездах, потратив всего полчаса на завтрак и полтора на обед. С носилками кала, весившими больше четырех пудов, обычно не ходили, а бегали; при таком темпе подачи и мастер не выходил из согнутого положения, не имея времени хотя бы выпрямить спину. Легче всего было тому, кто нагружал носилки, поэтому время от времени все менялись ролями. Иногда на самане работали втроем, тогда носильщики сами нагружали носилки.

Однако, возвращаюсь к событиям дня. Метрах в трехстах от села, в небольшой низине, "свояк" остановил своего одра, разгрузил телегу и уехал, пообещав после обе-

да привезти еще полбвы. Оставшись одни, мы оглянули арену предстоящих нам действий. Саманная яма одной стороной почти соприкасалась с протекавшим здесь ручьем, а с другой была ограничена срезом невысокого бугра. Оба эти обстоятельства чрезвычайно облегчали приготовление замесов для самана, а в непосредственной близости было сколько угодно места для его выкладки, так что с носилками не нужно было далеко бегать. Лучших условий для работы трудно было желать, а потому я искренне удивился, услышав сбоку недовольный голос Крылова:

— Ну, тут много не заработаешь: яма слишком глубока, ручей того и гляди пересохнет, и место слишком открытое, значит весь сельский скот будет топтаться по нашему саману.

— Да и кормить чертова вдова будет отвратительно, — добавил Смирнов. — По харе сразу видно, что она сквалыга, небось станет посылать нам лук, огурцы и юшку из-под творога, — на таких харчах через неделю ноги протянешь!

Я хотел было заспорить и заступиться за вдову, но в этот момент увидел то, что другие увидели раньше меня: вдали, на склоне пологого холма белели строения Сеймена, а на самой его вершине, ярко освещенная солнцем, как на ладони была видна наша казарма, где еще вчера мы чувствовали себя людьми совершенно иного порядка. Я сразу понял и разделил пессимизм моих друзей: имея перед глазами подобный соблазн, лезть в грязевую яму никак не хотелось. Желая наглядно показать, что вдобавок ко всему сказанному Крыловым, тут еще и грунт твердый как бетон, я схватил кирку и размахнувшись ударил ею по верхушке обрывающегося в яму бугра. Эффект получился неожиданный: вниз обрушилось столько земли, что ее достало бы на полсотни кирпичей. Внезапно все поняли, что роптать на условия тут просто грешно. Приступ малодушия был подавлен и мы взялись за работу, стараясь не глядеть в сторону казармы.

В час дня из села подошел парнишка, хозяйкин сын, тащивший в одной руке увесистую торбу, а в другой

пятилитровый глинянный кувшин, — в нём оказалось густое овечье молоко, а в торбе два больших хлеба, добрый килограмм свиного сала, изрядный кусок брынзы, банка маслин и пучек зеленого лука. Ворча, что на таких харчах можно нажить чахотку и поругивая бедную вдову, мы наелись как удавы, часок отдохнули и продолжали работу до темноты, Начавши в этот день поздно, мы выложили всего 1 300 кирпичей, но сверх того приготовили большой замес на завтра, так что утром можно было сразу приступать к выкладке.

Помывшись в ручье и придав себе прилично-рабочий вид, мы направились в сельский дукьян, где должны были ночевать, там выпили у стойки по "шеше" сливовицы[3]) и осведомились — готовы ли наши аппартаменты? Хозяин молча зажег керосиновый фонарь, провёл нас через двор и открыл в углу маленькую дверь, в которую, сгибаясь пополам, все мы вошли и очутились в небольшом и низком помещении. Стены его были сделаны из плетня, а на полу лежал толстый слой соломы.

— Это хлев, — пояснил хозяин. — Но свиней я с прошлого года не держу, так что тут все вычищено, а на пол я велел постелить свежей соломы. Вам будет здесь удобно, — добавил он и оставив нам фонарь, удалился.

Мы молча переглянулись. Смирнов стал на четвереньки и захрюкал, все остальные последовали его примеру. С минуту мы ожесточенно хрюкали друг на друга, потом с хохотом повалились на солому.

— Итак, мы на свинном положении, — промолвил Крылов, — с чем вас, господа офицеры и поздравляю! Впрочем, кабатчик прав, здесь пожалуй чище чем в его хате и наверняка будет меньше клопов.

Вскоре вдовий сынишка принес нам продукты на ужин. Их ассортимент от обеденного отличался лишь тем, что отсутствовали маслины, но вместо них в торбе оказались четыре десятка яиц. Прихватив и сало, хозяйственный Тихонов отправился с ними к дукьянщику на кухню и четверть часа спустя возвратился с огромной сковородой яичницы. Основательно закусив, мы выку-

---

[3]) Шеше́ — флакончик-мерка, вмещающая сто грамм напитка.

рили по цыгарке и завалились спать, все четверо накрывшись толстым рядном, которое прислала нам вместе с ужином сердобольная вдова.

Мне снилось, что я лежу на самом краю саманной ямы и громадная свинья со злобным хрюканьем толкает меня рылом, стараясь спихнуть вниз. Я проснулся и открыл глаза, — вокруг была темнота, но кто-то действительно толкал меня под бок и громко хрюкал. Потом раздался голос лежавшего рядом Смирнова:

— Просыпайтесь, боровы, уже светает, пора идти на работу!

Наш утренний туалет был недолог. Соорудив по бутерброду из хлеба и брынзы и на ходу закусывая, мы дошли до своей ямы и начали "вкалывать". К девяти часам утра уже выложили более пятисот кирпичей.

— Здорово идет дело, — заметил я во время перекура. — Если ежедневно будем делать в среднем по 2200 штук, в субботу вечером кончим и получив по тысяче левов на брата, отправимся домой.

— Половина заработка пойдет за долги, а на другую половину можно будет недельку пожить по-человечески, — мечтательно добавил Крылов.

— Да, но две тысячи двести кирпичей в день, это вам не жук наплакал, — сказал Смирнов. — Надо нажимать, давайте-ка приступим к делу!

Мы сделали новый замес, по крайней мере на семьсот кирпичей, и уже собирались перейти к выкладке, когда возле нашей ямы остановился какой-то прохожий болгарин.

— А вы почему работаете? — удивленно спросил он.

— Отцы не позаботились об нашем образовании и не научили нас делать фальшивые деньги, — ответил я. — Вот теперь и приходится работать.

— Но сегодня праздник, — пояснил братушка и назвал имя какого-то болгарского святого. — В этот день наш кмет[4]) работать не разрешает.

— Это к нам не относится. У вас свои праздники,

[4]) Кмет — сельский староста.

а у нас свои. К тому же работаем мы не в селе, а в поле и ваших праведников в соблазн не вводим.

— Ну, дело ваше. Я только вас предупреждаю, что могут быть неприятности, — сказал болгарин и пошел своей дорогой.

Потеря дня нарушала все наши рассчеты и потому мы решили продолжать выкладку, надеясь что сельские власти не захотят с нами связываться и оставят в покое. Действительно, часа полтора мы работали без всякой помехи, но потом к нашей яме подошел другой болгарин и отрекомендовавшись секретарем кмета, потребовал чтобы мы немедленно прекратили работу. Пришлось подчиниться. Усевшись на краю ямы мы закурили, провожая глазами величественно удалявшегося секретаря.

— Досадно, — промолвил Тихонов. — День пропадет зря и придется проторчать тут всё воскресенье, чтобы закончить работу в понедельник.

— Отчаиваться рано, — ответил Смирнов. — Этот блюститель порядка и благочестия, небось, уверен, что сегодня работать мы больше не посмеем и второй раз он сюда едва ли наведается, а из села нас не видно. Переждём на всякий случай минут пятнадцать, а потом будем продолжать.

Еще около часа мы проработали, но затем были арестованы и отведены к кмету. Последний хотел посадить нас в подвал до следующего утра, но в возникших пререканиях Смирнов удачно козырнул именем полковника Златева и дело кончилось тем, что кмет прочел нам длинную нотацию и с миром отпустил, взявши обещание, что сегодня мы работать больше не будем.

Время было обеденное, а потому выйдя из кметства мы направились к месту работы, зная что еду нам принесут туда. Почти сейчас же подошел и парнишка с продуктами. Мы разгрузили принесенную им торбу и помимо всего прочего, обнаружили в ней порядочный горшок сливочного масла.

— Ого, не меньше кило, — сказал Крылов. — Пожалуй не ужрём.

— Оставлять нельзя, — заметил Тихонов, — а то



Выкладка самана.

вдова подумает, что мы масла не любим и в следующий раз не даст, или даст мало.

Это было резонно и потому на поглощаемый хлеб мы мазали слой масла толщиною в палец, но все же не одолели его и половины.

После обеда возник вопрос — что теперь делать? Идти в село и забираться в свинушник никому не хотелось, коротать время в душном и полном мух деревенском кабаке было и того хуже.

— Давайте, братцы, останемся здесь, — предложил я, — и поваляемся на солнышке как богатые туристы на пляже. А чтобы не обгореть, используем остатки вдовьего масла.

Оставшись в одних трусах, мы густо обмазали тела и лица маслом и растянулись на солнцепёке, время от времени меняя положение и стараясь поддерживать разговор, т. к. заснуть при таких обстоятельствах было опасно. Но постепенно сон нас все-таки одолел.

Проснулся я первым и взглянув на своих спящих

приятелей пришел в ужас: их тела были помидорно-красного цвета. Конечно, и я был не лучше. Судя по положению солнца, проспали мы не меньше трех часов. И поняв чем это для нас пахнет, все приуныли.

— Придется облезать, — с грустью промолвил Крылов, — да еще не в сухую, а с пузырями.

Однако, к нашему удивлению всё обошлось благополучно. Кожа у нас даже не зашелушилась, а дня через два ее краснота перешла в великолепный, шеколадного цвета загар, кторый привел в восхищение сейменских дам. Спасло нас от ожегов, надо полагать, сливочное масло.

Дальше всё шло гладко. Чтобы наверстать потерянное время, нам пришлось делать по 2 400 кирпичей в день, что потребовало предельного напряжения сил, и к воскресенью мы работу закончили. Но к тайной нашей досаде, тут же получили второй заказ на саман и вынуждены были задержаться в Свирково еще на неделю.

8. КАЖДЫЙ РАЗВЛЕКАЕТСЯ ПО-СВОЕМУ

После двухнедельной работы на самане, я возвратился в казарму с хорошим заработком, — около двух тысяч левов. Тысячу с некоторой грустью, но по-братски распределил между кредиторами, затем отправился в русскую сапожную мастерскую братьев Зориных,[1]) — выдающихся специалистов своего дела, — и заказал себе новые хромовые сапоги, "такие тонные, чтобы весь Сеймен закачался от восхищения и зависти", — как было сказано сапожникам при вручении задатка.

Осталось у меня после этого монет семьсот. В те далекие времена, когда дневной паёк в казарме стоил всего тринадцать левов, а за двадцать пять можно было недурно пообедать в ресторане, — благоразумному человеку такой суммы хватило бы недели на три. Причислять себя к категории благоразумных у меня не было оснований, но все же я решил, что недельку или полторы можно будет пожить "дома", не омрачая своего отдыха мыслями о подыскании новой работы.

Кроме нашей, пришедшей из Свирково четверки, в казарме находилось еще несколько сергиевцев, — в основном это тоже были саманщики в данное время не имевшие заказов, но, как и мы, уже кое-что подработавшие. По случаю приятной встречи и общности судьбы, мы в первый же вечер совместно, и с подобающими возлияниями, поужинали в довольно уютном русском ресторанчике, который, разумеется, имелся в городе, а

---

[1]) Все три брата Зорины тоже были артиллерийскими офицерами.

после этого каждый стал проводить время сообразно своим влечениям и вкусам: одни ухаживали и увивались вокруг гарнизонных дам и барышень, другие отдавали предпочтение преферансу. Люди не чуждые искусства, помимо этих основных занятий, что-то рисовали и пописывали, — плодами их творчества были по преимуществу каррикатуры и стихи на злобы дня. Мирное течение нашей жизни лишь слегка омрачалось косыми взглядами и поучениями полковника Мамушина, который всячески старался внедрить в наши головы сознание того, что сейчас надо пользоваться возможностью подработать денег на зиму, а не бить баклуши.

Однажды вечером кто-то принес в казарму слух, будто на следующий день, поездом из Софии, через Тырново-Сеймен проследует куда-то болгарский царь Борис. В нашем русском понимании это было очень крупное событие. И поскольку никто нас о нём официально не известил, а в городе ни каких-либо приготовлений, ни даже разговоров об этом не было, — слуху никто не придал значения, считая его чьей-то досужей выдумкой. Но из нас, — молодых офицеров сергиевцев, человек шесть, которым нечего было делать, всё же решили припарадиться и сходить на вокзал к софийскому поезду, чтобы поглазеть если не на царя, то хоть на столичную публику. Такие прогулки мы не раз совершали и раньше.

Тырново-сейменская железнодорожная станция сама по себе была совершенно незначительна. Но ежедневно в полуденные часы через нее проходили в обоих направлениях поездá международного экспресса Париж — Константинополь, и оба стояли тут по полчаса, чтобы желающие из пассажиров могли пообедать. В силу этого, при здешнем вокзале существовал небольшой, но прекрасно обставленный ресторан с отличным буфетом, куда и мы наведывались когда бывали при деньгах и хотели кутнуть "на высшем уровне".

Согласно вчерашним слухам, царь должен был ехать не экспрессом, а пассажирским поездом София — Ямпол, который проходит через Сеймен в четыре часа дня. Мы, конечно, пришли раньше и стоя на перроне пропусти-

ли мимо себя весь состав, в надежде увидеть царский вагон, военную охрану, членов свиты или какие-либо иные признаки высочайшего присутствия. Но ничего подобного не увидели, — это был обыкновенный будничный поезд, с самыми заурядными пассажирами.

Разочарованные, мы зашли в буфет, выпили у стойки по рюмке "вишневой косточки", затем снова вышли на перрон и принялись фланировать вдоль поезда, разглядывая через окна сидящюю в вагонах публику, главным образом, конечно, едущих из столицы дам. При такого рода созерцании, — когда ног не видно, — болгарские женщины значительно выигрывают в глазах ценителя изящества и красоты, так что сделанный пассажиркам смотр нас вполне удовлетворил.

Когда мы подошли к паровозу, возле него, рассматривая что-то между колесами, стоял машинист в кожаной куртке и кепке, с гаечным ключем в руке. Мы не обратили на него внимания, но очевидно услышав у себя за спиной звон наших шпор, он обернулся и посмотрел на нас. Его худощавое лицо с длинным носом показалось мне очень знакомым.

— А, русские офицеры! — произнес машинист. Он глядел на нас с серьезным выражением лица и только в глазах теплилась улыбка.

— Вы тоже русский? — спросил я, силясь вспомнить, где его видел.

— Нет, я болгарин, — ответил он и теперь уже улыбнулся всем лицом.

— Ка́рай, нема да стоишь![2]) — заорал ему в этот миг вышедший из дежурки начальник станции. — Уже был звонок, а поезд и так идет с опозданием!

Машинист проворно поднялся на паровоз, дал гудок и выглянув в окошко помахал нам рукой.

— Братцы, да это никак сам царь! — промолвил кто-то из моих спутников, и я сейчас же сообразил, что лицо его мне знакомо по портретам. Мы как по команде вытянулись в струнку и лихо взяли под козырек. Маши-

---

2) «Действуй не́чего стоять».

нист благосклонно кивнул и привел паровоз в движение.

Ошеломленные этим диковинным происшествием, споря о том — царь это или просто похожий на него человек, мы обступили начальника станции, с которым уже были знакомы.

— Ну да, это был царь Борис, — ответил он на наш вопрос. — Разве вы не слыхали об этой его причуде? Он сдал экзамены на звание машиниста первого класса, получил право водить пассажирские поезда и теперь иногда для развлечения подменяет на какой-нибудь линии дежурного машиниста.

— Так как же вы, зная что это царь, так на него закричали? — спросил я с оттенком осуждения.

— А ему это нравится, мы уже знаем его вкусы. Начальников станций, конечно, заранее предупреждают из Софии какой поезд ведет царь Борис, но нам раз навсегда предписано его "не узнавать" и обращаться с ним, как с рядовым машинистом.

Болгары своего царя любили, — и он этого вполне заслуживал, — даже местные коммунисты говорили о нем без злобы, с оттенком уважения, а потому такие прогулки он мог совершать без всякого риска. Впрочем, и времена были иные: теперь при подобных обстоятельствах любого монарха или даже некоронованного главу государства просто из принципа ухлопали бы какие-нибудь "спортсмены", занимающиеся мокрыми делами под флагом борьбы за лучшее будущее человечества или за "социальную справедливость".

После этого события прошла еще неделя. Некоторые из моих приятелей взялись за ум и отправились на работу по сёлам, другие еще оттягивали эту печальную неизбежность. У меня деньги кончились как-то внезапно, я даже не успел оплатить паёк хотя бы на неделю вперед. Мне уже виделось, как под моими, обутыми в новые, шикарные сапоги ногами разверзается саманная яма. Но я был влюблен, мои сердечные дела развивались вполне благоприятно и уходить сейчас из Сеймена мне особенно не хотелось. Пораскинув умом, я решил искать

спасения в кассе взаимопомощи. Вся моя зимняя задолженность была туда полностью возвращена, а потому почти не сомневаясь в успехе, я пошел к Мамушину и предусмотрительно попросил у него "с запросом" четыреста левов, полагая, что он по-обыкновению начнет торговаться и сойдемся на половине. Но получилось совсем иное.

— Зачем вам эти деньги? — насупившись спросил Мамушин.

— На жизнь, господин полковник, — скромно ответил я.

— Иными словами, на продолжение той праздности, которой вы так самозабвенно предаётесь вот уже две недели? Касса взаимопомощи существует не для этого. Денег я вам не дам. Отправляйтесь завтра же на работу, и от моего имени порекомендуйте подпоручикам Смирнову и Шевякову составить вам компанию, они тоже слишком уж засиделись в казарме. А чтобы облегчить вам этот переход от легкомыслия к благоразумию, я прикажу капитану Федорову закрыть вам троим кредит в офицерском собрании и в лавочке.

Если хоть сколько-нибудь справедливы народные поверья, весь этот вечер Мамушин должен был икать без передышки, т. к. обсуждая наше незавидное положение, мы в своей комнате крыли его напропалую. Это облегчало душу, но на работу всё же надо было идти. Утром мы встали около восьми, с грустью и отвращением облачились в рабочие костюмы и направились в собрание, с намереньем выпить чаю и закусить перед выступлением.

— Только за наличные, — предупредил нас хозяин собрания. — По приказанию начальника группы, кредит всем вам с сегодняшнего утра закрыт.

— Так ведь мы уходим на работу, чего же ему еще надо? — возмутились мы. — Чтобы мы шли голодными? Не может быть, вы его наверное плохо поняли!

— Мне было сказано точно, определенно и без всяких оговорок: подпоручикам Каратееву, Смирнову и Шевякову кредит закрыть до нового распоряжения. Я вам

очень сочувствую, господа, но приказа нарушить не могу и потому повторяю: только за наличные.

Наличных у нас не было. Капитан Федоров был человек свой, и потому его присутствие не помешало нам в самых энергичных выражениях осудить действия Мамушина.

— Ну и жизнь, прямо хоть вешайся, — промолвил я, когда мы немного разрядились.

— А это, между прочим, хорошая идея, — сказал горазды́й на выдумки Шевяков. — Давайте разыграем Менелая [3]) и заставим его пережить несколько драматических минут. В девять часов он, как обычно, придет сюда пить чай и наткнется на наши трупики. А вы, Константин Степанович, к его приходу спрячьтесь куда-нибудь, — добавил он, обращаясь к Федорову.

Последний, в чаяньи интересного спектакля, снабдил нас веревками, которые мы перекинули через деревянную балку, проложенную под потолком, над входом в собрание. Затем, подставив скамейку, приспособили к себе по хитроумной петле, — в царившем тут полумраке казалось, что она охватывает шею, тогда как в действительности веревка проходила у нас подмышками.

Когда в коридоре послышался звон мамушинских шпор и характерное покашливанье, мы выбили из-под себя скамейку и повисли, вывалив языки, как подобает подлинным удавленникам.

Мамушин шел опустив голову и увидел нас когда уже почти уперся носом в мой живот (я висел средним). Он отпрянул назад как ударившийся об стену мяч, страшно побледнел и уставившись на нас немигающими, выпученными глазами, пробормотал:

— Господи, да что же это такое? — Потом, очевидно заметив, что наши тела́ не висят неподвижно, а еще покачиваются на веревках, во всё горло закричал: — Эй, кто тут есть! Константин Степанович! Скорее сюда, их еще можно спасти!

---

[3]) Мамушин ухаживал за дамой, которая у нас прозывалась Еленой Прекрасной, — отсюда и он получил прозвище Менелая.



Он был так потрясен, что мне стало его жаль, к тому же было ясно, что сейчас нас разоблачат, и я замогильным голосом произнёс:

— А кредит нам откроют, когда возвратят к жизни?

Надо было видеть лицо "Менелая"! Оно последовательно отразило чувства испуга, удивления, радости, наконец стало багроветь и наливаться гневом. Но в этот момент откуда-то с хохотом вылез капитан Федоров, Шевяков начал уморительно дёргаться и паясничать на веревке, и Мамушина тоже прорвало смехом. Он до того развеселился, что когда мы попросили подставить

нам скамейку, чтобы можно было выбраться из петель, — решительно заявил:

— Ну нет, голубчики, теперь уж повисите пока я позову фотографа! Такое зрелище стоит увековечить для потомства.

Фотографом, который обслуживал всю казарму, был В. П. Субботин, ныне известный артист и театральный деятель, а тогда молодой хорунжий, находившийся на амплуа гимназиста седьмого класса. Он вскоре явился, нас сфотографировал, а пять минут спустя мы уже пили в собрании чай, вместе с Мамушиным.

Во время этого чаепития удалось убедить его не применять к нам никаких санкций пока не возвратятся в казарму Тихонов и Крылов, которые два дня назад отправились на разведку по окрестным сёлам, — в случае если они найдут работу, понадобимся и мы.

Пришли они в тот же вечер, заручившись в селе Златице двумя небольшими заказами на саман. Крылова жестоко трепала малярия, — он отправился прямо в лазарет, а мы, трое "висельников", вместе с Тихоновым на следующее утро выступили в Златицу.

9. СЕЛЬСКИЙ ЭТИКЕТ И МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В Златице нам пришлось работать не за селом, как обычно, а во дворе у хозяина: он недавно выкопал тут колодец и хотел использовать вынутую землю для самана; с той же целью надлежало скопать возвышавшийся в углу бугор. Двор был обширен, — для выкладки кирпичей места сколько угодно, вода под боком, возможность работать в тени деревьев, — словом условия были прекрасны и единственным неудобством тут была необходимость все время оставаться в рубахах, т. к. при здешних нравах не могло быть и речи о том, чтобы снять их, находясь в селе и на виду у женщин.

Хозяева нам попались на редкость симпатичные и кормили они превосходно. Кстати, стоит сказать несколько слов о том, как обычно происходила эта кормежка. В болгарских сёлах ни столов, ни стульев не употребляли, — кушанье ставилось на круглую деревянную подставку, которая возвышалась над полом сантиметров на десять. Едоки усаживались вокруг, прямо на полу, скрестив по-турецки ноги, — конечно, только мужчины, — члены семьи и батраки. Хозяйка лишь подавала на стол и прислуживала, а остальные домашние женщины даже не показывались и ели потом отдельно.

Как обед, так и ужин почти всегда состояли из одного блюда. Обычно это было какое-нибудь полужидкое, обильно приправленное жирами варево из баранины с овощами, фасолью и т. п. Готовилось оно в таком количестве, чтобы могли насытиться даже самые прожорливые. Еда подавалась в большой миске и все ели прямо оттуда, причем ни ложек, ни вилок не полагалось, —

надлежало управляться при помощи хлеба, большие куски которого хозяйка раскладывала вокруг миски. Его мокали в соус и ели, им же подцепляли из миски кусочки мяса и овощей.

Со стороны могло показаться, что всё это просто и примитивно почти до свинства, но на самом деле тут существовал известный этикет и строго соблюдались своеобразные правила приличия. Не подозревая этого, культурный человек, впервые попавший на подобную трапезу, эти правила самым безбожным образом нарушал и в глазах хозяев легко мог прослыть совершенно неотёсанным невежей. На первом же нашем обеде в Златице в такое положение попал Шевяков: до этого он подвизался на постройках и в сёлах еще никогда не работал.

Прежде всего, у него возникли трудности с сидением. Селяки едят степенно, не торопясь, и без привычки высидеть добрый час со скрещенными ногами не так-то легко. Мы уже втянулись, но бедняга Шевяков вскоре начал ёрзать и искать более удобное положение. Он пробовал подсаживаться к еде боком, стоять на коленях, мостился так и сяк, и в конце концов нашел, что удобнее всего есть сидя на корточках. Надо полагать, что на хозяев болгар это произвело примерно такое же впечатление, какое получил бы англичанин, если бы у него за обедом кто-нибудь из гостей влез с ногами на стул.

Совать кусок хлеба в общую миску с едой, затем обкусывать его и снова совать Шевякову претило и он спросил хозяйку — нет ли у нее ложки? Мы не успели предупредить его, что этого делать ни в коем случае не следует. Ложки у болгарских крестьян есть, — ими, например, едят кислое молоко, — но их применение за общей трапезой считается излишним и рассматривается как признак жадности: человек, мол, хочет создать себе особо благоприятные условия и при помощи инструмента выловить лучшие куски или съесть больше, чем другие.

Ложку Шевякову дали. Он запустил ее в миску и сразу подцепил кусочек мяса, что также служило приз-

наком невоспитанности: сначала полагалось сообща съесть жидкую часть соуса, а потом уж переходить на гущу, — это было как бы второе блюдо. Наш дебютант в таких тонкостях не разбирался, а потому, очень довольный получением ложки, немедленно отправил в рот всё, что ею зачерпнул. К болгарской еде он не был привычен, — у него внезапно перехватило дыхание, из глаз полились слезы и он судорожно закашлялся.

— Ты, Гриша, пока не привыкнешь, ешь маленькими глотками и набирай в рот побольше хлеба, — посоветовал ему Тихонов.

— Да разве к этому можно привыкнуть! — просипел Шевяков. — Будто ложку лавы проглотил прямо из жерла вулкана!

Болгары, начиная с самого нежного возраста, едят невероятно остро приправленную пищу, и тут в каждом огороде любовно культивируется несколько сортов перца, в том числе и так называемые "чушки", — маленькие красные стручки, до того свирепые, что, казалось бы, они должны сжечь человеку все внутренности. Однако болгары, которые потребляют их ежедневно в течение всей жизни, согласно статистике, являются самым долгоживущим народом Европы, и отличаются завидным здоровьем.

Работая в сёлах, а в промежутках питаясь главным образом в болгарских дукьянах и ресторанах, к такой острой еде очень скоро привыкли и мы. Когда после шести лет жизни в Болгарии, я попал в Бельгию, все здешние кушанья казались мне пресными и лишенными вкуса, а имеющийся в продаже перец — приправой для детской кашки. Томился я до тех пор, пока кто-то мне не сказал, что тут в аптеках продается кайенский перец, — я его попробовал и облегченно вздохнул, — эти крохотные стручки были не менее люты, чем болгарские "чушки". Несмотря на уверения аптекаря, что кайенский перец употребляется только для каких-то медицинских целей, я закупил его сразу большой запас и таким образом вышел из положения.

Когда мы опоржнили миску, хозяйка наполнила ее

снова и по знаку мужа принесла бутылку сливовицы. На ее горлышко было надето что-то весьма похожее на детскую резиновую соску. Бутылка, начиная с хозяина, пошла вкруговую. Получив ее, надлежало, запрокинув голову, вытрясти в открытый рот глоток водки, — теперь то мы это знали, но пока не постигли такой премудрости, принимались просто сосать, как дети сосут из бутылки молоко. Шевякову удалось избежать этого промаха, т. к. он сидел в конце круга и пока до него дошла очередь, успел присмотреться к тому, как обращаются с бутылкой другие. Таким же образом пьют за обедом и воду из глинянного кувшина, только вместо соски пользуются специальным отверствием, имеющимся в его ручке, возле горлышка.

Заканчивая вторую миску, едоки, один за другим, принялись извлекать из своих глоток громозвучные рулады отрыжки. К общему хору не присоединился только Шевяков, поглядывавший на нас с явным осуждением. Выражение его лица говорило: "как, однако, быстро могут опуститься вполне, казалось бы, благовоспитанные люди, попав в некультурную среду!"

— Рыгай, Гришка, не будь хамом, — сказал ему Смирнов. — Это здесь служит выражением благодарности хозяйке: накормила, мол, вкусно и до отвалу. А если не рыгнешь, она снова наполнит миску жратвой и поставит у тебя перед носом.

Шевяков удовлетворительным образом выполнил ритуал, признательно улыбнувшись хозяйка унесла миску и остатки хлеба, а мужчины вытащили кисеты с табаком и принялись крутить цыгарки.

У этих хозяев работы нам было на четыре дня, но между ними вклинилось воскресенье, — в селах по праздникам никто не работает и мы проводили этот день в вынужденном бездельи. В субботу хозяйка дала нам на ужин превосходную баницу,[1]) — из сельских кушаний мы ее особенно любили, — а в воскресенье предложила приготовить какое-нибудь русское блюдо, если мы объя-

---

1) Баница — род блинов.

сним, как оно делается. В результате мы ее обучили делать вареники, которые удались на славу и очень понравились хозяевам. В следующие годы часто бывая в Златице, я всегда заходил к этим гостеприимным людям и убедился, что вареники со сметаной прочно вошли у них в обиход.

В этом же селе нам продстояло выполнить еще один заказ на саман и мы перешли к новому хозяину, баю Велчо. Теперь работать надо было за околицей, далеко от дома, и еду, за исключением ужина, нам приносили прямо в поле. На завтрак мы получили хлеб и брынзу, — это было терпимо, хотя обычно давался еще и кувшин молока, — но первый же обед наглядно показал, что на харчах у бая Велчо мы не растолстеем: это была фасоль сваренная в воде, слегка сдобренной уксусом и постным маслом, без всяких признаков мяса. Фасоль в Болгарии была самым дешевым из съестных продуктов и нас ею так донимали в полуголодные юнкерские годы, что все мы ее терпеть не могли, особенно в таком убогом оформлении. Пообедали мы без всякого удовольствия и довольно ясно дали хозяину понять, что впредь надеемся на харчи получше. Однако на ужин нам дали ту же фасоль, справдываясь тем, что днем хозяйка должна была уйти на какие-то поминки и потому приготовила еду сразу на обед и на ужин. Отпустив по этому поводу несколько иронических и не очень светских замечаний, мы поели, оставив в миске добрую половину ее содержимого и ушли из-за стола без выражения традиционно-отрыжечной благодарности, что по местным понятиям являлось для хозяев почти оскорблением. Но у бая Велчо нервы оказались крепкими: на следующий день к обеду он снова принес фасоль, только другого цвета и с добавлением лука, но опять без мяса или сала. Кроме этого, был, как обычно, хлеб и несколько головок чеснока. На этот раз мы возмутились всерьез.

— Ты, бай, фасоль побереги для своих свиней, — сказал я. — Они самана не делают и может быть на твоих харчах не подохнут. А у нас работа тяжелая и нам давай мясную еду!

— Сейчас идет Петров пост, — ответил болгарин,



На выделке самана.

— и пока он не кончится, ни мяса, ни сала вы не получите и будете есть постное.

— Постись сам, коли ты такой набожный, а о спасении наших душ не заботься и корми как положено. У нас пост бывает когда нет работы.

— Когда тебя посадят в пекло за жмотство, прихвати туда и свою фасоль, — добавил Смирнов, — а мы ее есть не станем!

— Будете лопать что даю, — невозмутимо ответил бай Велчо. — А если не нравится, можете убираться куда хотите.

— Ладно, давай рассчет за сделанное!

— Когда кончите заказ, тогда и будет рассчет, а уйдете раньше, ничего не получите.

— Давайте, братцы, обмажем этого мерзавца его постной фасолью, переломаем сделанные кирпичи и уйдем, — предложил я, переходя на русский язык.

— Полностью присоединяюсь к предыдущему оратору, — поддержал Смирнов. — По-моему это блестя-

щая идея, которую следует немедленно привести в исполнение.

— На этом мы потеряем почти тысячу уже заработанных левов, — сказал рассудительный Тихонов. — А между тем есть верный способ на него повлиять мирным путем, в моей практике уже был такой случай. Предоставьте действовать мне и ручаюсь, что с завтрашнего дня он нас будет кормить не хуже, чем первый хозяин.

— Чем же ты его думаешь пронять? — с сомнением спросил я.

— После объясню. А сейчас молчок и больше его не задирайте.

Мы прекратили пререкания, поели хлеба с чесноком и не притронувшись к фасоли возобновили работу. Велчо хладнокровно спрятал горшок с едой в торбу и отправился восвояси, пробормотав, что за ужином, когда мы по-настоящему проголодаемся, эта фасоль покажется нам очень вкусной.

Исполняя план Тихонова, мы кончили работу раньше обычного, помылись и отправились прямо в дукьян, где в этот час собирались все сливки сельского общества, потягивая черный кофе или ракию. Там уселись за столик подальше от стойки, и выждав момент относительной тишины Тихонов громко крикнул:

— Эй, хозяин! Дай-ка нам на четверых зарзава́т[2]) или что там у тебя есть. Да вали сразу двойные порции, мы голодны как собаки!

В трактире мгновенно прекратился галдеж и все навострили уши. Тут каждый знал, что "руснаци" работают на хозяйских харчах и потому слова Тихонова всех удивили.

Да ведь вы работаете у Велчо? — спросил кто-то. — Что же, он вас не кормит?

— Кормит так, что с голоду подохнуть можно. Два дня не дает ничего кроме сваренной на воде фасоли, а работа у нас, сами знаете, не легкая. Вот и приходится в дукьяне подкармливаться.

---

[2]) Зарзава́т, — восточное мясное блюдо с овощами.

— Это позор! — сказал стоявший у стойки пожилой мужик.

— Велчо всегда был скрягой, — добавил другой.

— Когда собираем для попа, он дает меньше всех, — промолвил третий.

Большинство присутствующих принялось чехвостить бая Велчо, вспоминая все его прежние грехи, а мы тем временем закончили ужин, расплатились и вышли. У Велчо от ужина отказались, — что его нимало не огорчило, — и отправились прямиком в отведенный нам для спанья овин.

— Ну, завтра поглядим какова тут сила общественного мнения, — укладываясь спать промолвил Тихонов. — В селе Медникарово, где мы впервые применили этот метод воздействия, эффект получился замечательный.

Неплохим он оказался и в Златице. К обеду бай Велчо появился не с одной торбой, как прежде, а с двумя. Кроме хлеба и лука, в них оказался полуведерный горшок с жирным и вкусным мясным соусом, баница, два десятка вареных яиц и даже бутылка вина. Словом, поста как не бывало, да и сам хозяин, любезный и предупредительный, казался другим человеком. Только когда мы закончили трапезу, он не выдержал и принялся упрекать нас за то, что накануне мы пошли ужинать в дукьян, — теперь соседи не дают ему проходу и корят, что он голодом морит своих рабочих руснаков.

— Ну и правильно, что корят, так тебе и надо, — сказал Смирнов.

— Это тебе наперед наука, — добавил Тихонов. — Но впрочем, если ты до конца будешь нас кормить так, как сегодня, мы еще зайдем в дукьян и обелим тебя перед односельчанами.

10. ДЕЛА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Государственный переворот, — в результате которого на смену полукоммунисту Стамболийскому пришло правое правительство Цанкова, — случился в Болгарии весною 1923 года, когда мы были еще юнкерами. Если не считать того, что сам Стамболийский и кое-кто из его окружения были убиты, дело обошлось почти без кровопролития и гораздо легче, чем можно было ожидать. Русские воинские соединения никакого участия в этих событиях не принимали и о их подготовке знало, может быть, только наше высшее начальство. В то время, когда в Софии совершался переворот, в тырново-сейменском районе всё было совершенно спокойно, нигде не раздалось ни выстрела и о смене власти мы узнали когда дело было полностью закончено.

При новом правительстве русские вздохнули с облегчением, — теперь можно было не опасаться того, что нас выдадут на расправу большевикам. Но в остальном положение наше ничуть не изменилось, — даже старшему командному составу, высланному из Болгарии при Стамболийском, после переворота не разрешили вернуться к своим частям. Не оправдались и надежды оптимистов на то, что теперь перед нашим братом откроются кое-какие пути и возможности устроиться получше. В соседней Югославии русские сравнительно легко получали службу, в Болгарии такие случаи можно было пересчитать по пальцам и относились они лишь к специалистам самой высокой квалификации. У всех остальных, — как при Стамболийском, так и при Цанкове, — оставалась та же перспектива: черная работа.[1]) Но сто-

[1]) Осуждать за это Болгарию, конечно, нельзя: условиями мир.

ит отметить, что в Болгарии эта черная работа (во всяком случае сдельная) оплачивалась гораздо лучше чем в той же Югославии и о таких заработках, как наши, тамошние рабочие могли только мечтать.

Именно потому, что политический переворот произошел сравнительно легко и безболезненно, подлинное спокойствие в стране наступило далеко не сразу. Силы левого лагеря, не потерпев значительного урона, внешне покорились обстоятельствам, но вместе с тем почти не скрывали своих истинных чувств и деятельно готовились к новому захвату власти. В провинции всюду шли брожения и беспорядки, нередко принимавшие форму местных мятежей, которые имели тенденцию в случае удачи перерасти в общее восстание.

Наш район, чисто земледельческий, был, пожалуй, наиболее спокойным, но и тут для поддержания порядка требовалось если не вмешательство, то постоянная демонстрация воинской силы. Взводы и эскадроны болгарского конного полка, которым командовал наш друг полковник Златев, с этой целью беспрерывно разъезжали по округу, и обычно одно их появление умиротворяло политические страсти, разбушевавшиеся в том или ином селе. Нужно сказать, что в Болгарии каждый безграмотный селяк считает себя великим политиком и обладателем панацеи от всех социальных болезней, и потому подобные страсти в любую минуту готовы вспыхнуть в каждом сельском кабаке, а оттуда вырваться на улицу.

Положение особенно обострилось через несколько месяцев после нашего производства в офицеры. Со дня на день все ожидали каких-то крупных событий. На случай внезапного восстания в самом Тырново-Сеймене или в ближайших сёлах, всех русских тут тоже должным образом вооружили: вдобавок к холодному оружию и револьверам, которыми мы располагали, из возвращенного нам кубанского арсенала все получили винтовки и патроны; несколько пулеметов были тщательно вычище-

---

ного договора, после первой мировой войны, она была буквально ограблена и раздавлена экономически.

ны и приведены в боевую готовность. В русском гарнизоне была установлена караульная служба, которую день несли сергиевцы, день кубанцы. По ночам выставлялись дозоры и район казармы обходили вооруженные патрули. По счастью всё это совпало с зимним периодом, когда в сёлах работы не было и почти все мы сгруппировались в казарме.

. В эту пору положение иной раз становилось настолько тревожным, что ночью нам приказывали спать не раздеваясь, с оружием под боком. Такая предосторожность была далеко не лишней, ибо в случае восстания главная опасность грозила именно нам, — тому уже были примеры. Так, в городе Старая Загора,[2]) сравнительно недалеко от нас, восставшие коммунисты ночью врасплох напали на русскую казарму, в которой в это время было мало народу и все мирно спали. Несколько офицеров было при этом убито, а остальные избежали такой участи лишь потому, что успели забаррикадироваться в одном из помещений и отчаянно отбивались несколько часов, пока восстание не было подавлено.

В экстренных случаях местные власти, не располагавшие достаточными силами, обращались за помощью к нам, и мы в ней никогда не отказывали. Помню, однажды около часу ночи начальнику русского гарнизона генералу Лебедеву сообщили, что на одной из ближайших железнодорожных станций происходят крупные беспорядки, со стрельбой, и попросили немедленно отправить туда небольшой отряд, для их подавления. Моментально мы, в составе вооруженного винтовками и пулеметом взвода, выехали туда на специально поданом паровозе, но ни одного выстрела сделать нам в эту ночь не пришлось: когда мы прибыли на место, всё там было спокойно и тихо. Оказывается, кто-то успел сообщить по телефону, что из Сеймена выехал вооруженный русский отряд, — этого известия оказалось достаточно, чтобы бунтари сейчас же угомонились и разбежались по домам.

---

[2]) В то время этот город чаще еще называли его отуреченным названием Эски Загра.

Гораздо хуже и неприятней бывало, когда в качестве восстановителей порядка и спокойствия приходилось появляться в тех сёлах, где нам случалось работать и до, и после этого. Правда, в этих случаях мы всегда держали себя корректно и нигде ни разу не применили оружия или силы.

Как-то раз, еще осенью, часов в одиннадцать вечера наше начальство получило из болгарской комендатуры сообщение, что в селе Костантиново коммунисты устроили митинг и побуждают народ к немедленному восстанию, — нас просили навести там порядок. Село было невелико и находилось в трех верстах от Сеймена, а потому, справедливо рассудив, что ничего серьезного по масштабам там происходить не может, на усмирение отправили всего шесть человек, и начальником этого грозного отряда назначили, к сожалению, меня.

Выступили мы пешком и в Костантиново прибыли вскоре после полуночи. В селе царила полная тишина, лишь кое-где лениво побрехивали собаки. Как почти всегда в таких случаях бывало, слух о нашем выступлении какими-то неведомыми путями нас опередил, и на околице мы были встречены несколькими пожилыми крестьянами во главе с кметом, который меня поспешил заверить, что перепившихся и заваривших кашу скандалистов уже уняли собственными силами и в нашей помощи нет никакой надобности.

Во время этого доклада чувствовал я себя весьма неловко. По иронии судьбы встреча произошла в нескольких шагах от ямы, в которой всего месяц назад я делал саман этому самому кмету! Тогда я ему, как обычно, говорил, что был простым солдатом, теперь он с удивлением поглядывал на мою амуницию и офицерские погоны, я елозил глазами по сторонам и оба мы усиленно делали вид, что друг друга не узнаём. После этого случая я больше никогда не ходил в Костантиново работать.

Весь этот сумбурный период завершился общим коммунистическим восстанием, которое было хорошо подготовлено Георгием Димитровым, — позже стяжавшим себе громкую известность, — и вспыхнуло одновременно по всей стране, в крупных индустриальных цент-

рах приняв грозные размеры. Оно было подавлено в течение нескольких дней, при активном участии русских белых частей, т. к. на их казармы восставшие нападали прежде всего и с первого момента всем нам стало ясно, что дело тут идет не только о судьбе Болгарии, но и о нашей собственной.

В тырново-сейменском округе всё ограничилось мелкими и разрозненными выступлениями, явно имевшими целью только отвлечь часть воинских сил правительства от более важных очагов восстания. Тут всё это было быстро ликвидировано без участия русских, силами одного лишь болгарского конного полка. Но в других местах наши воинские части сыграли в этих событиях заметную, если не решающую роль. Так было, например, в районе города Белградчика, где восстание развивалось вначале особенно успешно и в ожесточенных боях было подавлено частями Марковской дивизии, под командованием генерала Пешни.

В этой попытке захватить власть, красные силы Болгарии потерпели сокрушающее поражение, — согласно довольно правдоподобным слухам, только убитыми они потеряли около двадцати тысяч человек. Главные руководители восстания, Димитров и Коларов, бежали заграницу и после этого в стране наступило полное и продолжительное спокойствие.

11. МИТЮ ГАНЕВ

В те годы, и как раз в нашем районе, подвизался неуловимый разбойник Митю Ганев, который в Южной Болгарии был столь же прославлен и знаменит, как достопамятный Зелимхан на Кавказе. О его грабежах и похождениях по всей стране ходили легенды, да и в самом деле это был человек незаурядный и не лишенный своеобразного благородства и великодушия.

В нынешнее время почти каждый бандит прикрывается той или иной политической идейностью: борюсь, мол, с капитализмом и социальной несправедливостью, граблю и режу из протеста против войны во Вьетнаме или дескриминации черных в Родезии и т. п. Это обеспечивает человеку и хорошие доходы и предельную снисходительность суда. Митю Ганев, — порождение иной эпохи, — был более примитивен: ни в какую политическую тогу он не драпировался, но грабя богатых, часто помогал бедным, и тем стяжал себе в народе симпатию и популярность. В случае надобности, ему и членам его шайки в любом селе давали приют и убежище, помогая уйти от преследованья, а потому властям, которые устраивали на Ганева частые облавы, никак не удавалось поймать его.

В одном селе, где мне не раз случалось батрачить, прямо из первоисточника слышал я такую историю: жил там пребедный мужик, который по весне, за неимением волов, вышел пахать свое поле на какой-то совершенно неподобной паре, — кажется в плуг у него были впряжены корова и осел. Увидал это проезжавший мимо Митю Ганев, остановился, обстоятельно расспросил мужика и тут же дал ему шестьдесят тысяч левов.

— Вот тебе деньги на пару хороших волов. Но покупай их непременно на этой же неделе и только у такого-то, — тут он назвал фамилию известного богатея, жившего в соседнем селе. — А если купишь у другого, волов у тебя отберу.

Мужик всё исполнил в точности, а в одну из ближайших ночей к богатею явился Митю Ганев и отобрал свои деньги. Разумеется, в данном случае благотворительность ему ничего не стоила, но в разных сёлах я знавал и других людей, которым разбойник помог стать на ноги или выпутаться из какой-либо беды.

Русских Митю Ганев не трогал и по отношению к нему мы держали строгий нейтралитет, ибо в противном случае нас, работающих безоружными по глухим сёлам, начали бы резать по-одиночке, как цыплят. А так мы друг друга не опасались и кое-кому из нас даже доводилось с ним встречаться и мирно беседовать.

Так, однажды, когда трое наших саманщиков, — не помню уж кто именно, — работали возле самой дороги, на окраине какого-то села, к ним подъехали два верховых болгарина.

— Алла гюле,[1]) братушки, — сказал один из них. — Вы здесь давно работаете?

— С самого рассвета, — ответили ему.

— А солдат на этой дороге не видели?

— Нет. Кроме двух крестьянских телег и одного селяка верхом на осле, никто сегодня тут не проезжал.

Получив этот ответ всадники въехали в село, а через полчаса сюда же прибыл взвод конницы из Харманли, преследовавший Митю Ганева. Но он как в воду канул, — крестьяне его хорошо спрятали.

В другой раз наш приятель, кубанский сотник Григорьев в одном из сельских дукьянов как-то вечером разговорился у стойки с симпатичным болгарином. Они выпили по несколько рюмок водки, угощая друг друга,

---

[3]) Алла гюле — по-турецки «Бог на помощ». В Южной Болгарии это приветствие почти всегда говорили именно по-турецки.

но когда Григорьев хотел заплатить свою долю, его собутыльник этому решительно воспротивился.

— За Митю Ганева в кабаках никто не платит, — сказал он, положил на стойку столевую бумажку и не торопясь вышел. Изумленный Григорьев спросил у кабатчика — правда ли это был Митю Ганев?

— Кто тебе сказал? — вопросом ответил последний.

— Да он сам!

— Сюда заходят разные люди и до их имен мне нет дела. Про этого человека я знаю только одно: он никсгда не лжет.

Такие безоблачные отношения продолжались у нас свыше двух лет, но потом случай их внезапно испортил. Из государственного банка в городе Хасково, в тридцати километрах от нас, должны были отвезти на автомобиле пять миллионов левов какому-то учреждению в Харманли. Дело готовили в строгой тайне, но Митю Ганев, у которого повсюду были свои люди, заранее разведал все подробности и в удобном месте устроил на дороге засаду. Когда появился автомобиль, в котором ехали два банковских чиновника с деньгами, шестеро вооруженных револьверами бандитов выскочили из кустов, преградили ему путь и приказали остановиться. Но вместо этого шофер, — русский капитан, видавший и не такие виды, — дал полный газ и под градом пуль прорвался сквозь препону. Один из чиновников получил тяжелое ранение, но деньги были спасены, а Митю Ганев, у которого неудачи случались очень редко, был вне себя от ярости. По всей Болгарии циркулировала сказанная им фраза:

— "Русский у меня вырвал из рук пять миллионов, за это он поплатится головой, да и соотечественники его пускай теперь от меня добра не ждут!"

Шоферу дали крупные наградные и порекомендовали ему сразу же уехать из Болгарии, что он и сделал, а мы, уходя на работу, стали остерегаться и иной раз прихватывать с собой револьверы. Но к счастью никто из нас не пострадал, так как для мести судьба оставила Ганеву очень мало времени. Его операции принимали

всё более крупный размах, на дорогах в нашей области стали грабить проезжих напропалую, бесстрашный и щедрый разбойник превращался в кумира всей болгарской бедноты и правительство наконец решило взяться за него всерьез.

Однажды, зная наверно, что всё ядро его шайки в данный момент находится где-то в лесу между городами Хасково, Тырново-Сеймен и Харманли, весь этот гористый и безлюдный район, диаметром около двадцати километров, оцепили войсками и тщательно прочесывая местность, стали стягивать круг. В этой грандиозной облаве приняли участие два болгарских полка, несколько рот пограничной стражи, жандармские соединения и даже наша русская сводная рота, насчитывавшая полтораста человек. Отказывать болгарам в этой помощи теперь у нас не было оснований, — после "порчи отношений" в ликвидации бандита были заинтересованы и мы.

Нам достался сравнительно легкий участок, между шестым конным полком и какой-то жандармской частью. Рассыпавшись в цепь, мы часа три поднимались по заросшему редким лесом склону горы, и когда уже были недалеко от ее вершины, справа от себя услышали интенсивную стрельбу. Через несколько минут она затихла, а вскоре прибыл нарочный от начальника отряда, который передал, что все разбойники перебиты и мы можем возвращаться восвояси.

Вскоре мы узнали следующие подробности: Митю Ганев и семеро других бандитов, когда убедились, что они окружены, на участке хасковского пехотного полка вышли из кустов с поднятыми руками, в знак сдачи держа в них белые платки. Солдаты спокойно ждали, но приблизившись к их цепи вплотную, разбойники, которые держали под платками револьверы, внезапно открыли огонь и попытались прорваться, однако это не удалось и их всех перестреляли.

Телá привезли в Хасково, там, не долго думая, отрезали им головы, вздели их на пики и с победными криками стали носить по улицам города. Но в самый разгар этого торжества из Софии пришла телеграмма:

всех мертвых бандитов повесить на центральной площади в Хасково и оставить там на три дня, для всеобщего обозрения и устрашения. Повесить безголовых покойников было мудрено и невразумительно, но начальник хасковского гарнизона был человек находчивый: он распорядился пришить проволокой разбойничьи головы к телам и затем выполнить приказ, полученный из столицы.

Сказано — сделано: бандитам присобачили головы и выложили их рядком на площади, пока шло сооружение виселиц. Вокруг толпились множество горожан, привлеченных редким зрелищем, подошли поглазеть и какие-то селяки. Они долго приглядывались, переходя от тела к телу, а потом подняли галдеж: мы, мол, Митю Ганева отлично знаем, — вон его голова, но она приделана к чужому туловищу! Да и вообще все головы попали тут не на свои места. И кто знает какие ужасные последствия это может иметь в загробной жизни!

Под напором общественного мнения "шорникам" пришлось переделать свою работу, и когда всё оказалось в порядке, разбойников развесили на площади, чтобы другим неповадно было.

12. КИРПИЧИ И ТО ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ

В наших краях, кроме самана, делались полевым способом и настоящие кирпичи, так что при скудности здешних возможностей русским пришлось освоить и эту индустрию. Кирпичным производством у нас занимались преимущественно кубанцы, но иной раз крупные подряды перепадали и сергиевцам. Нередко составлялись и смешенные артели, т. к. все мы передружились и жили фактически одной военно-рабочей семьей.

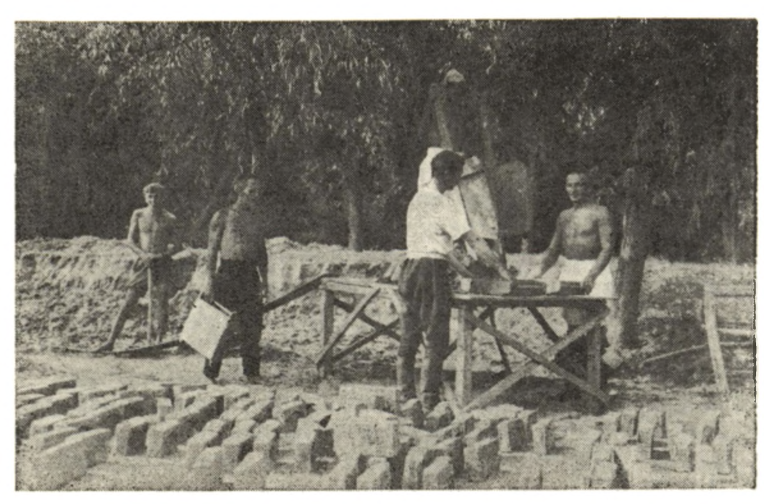
На кирпичах, в случае удачи, можно было заработать еще лучше, чем на самане, но эта работа требовала более продолжительного времени и была сопряжена с известным риском: саман дождя не боится, а кирпич-сырец к нему чрезвычайно чувствителен, таким образом, в случае внезапной непогоды иной раз погибало несколько тысяч свеже-выложенных кирпичей, которых еще нельзя было сложить в штабели и прикрыть. А исключительно сильный ливень "косохлёст" мог размыть и сложенные, т. к. они были накрыты только сверху. Правда, это случалось редко, — лето в Южной Болгарии чаще бывает засушливым, чем дождливым, — но всё же, по сравнению с саманной работой, это был минус. Однако существовал и плюс: заказы на саман редко превышали десять тысяч штук и выполнялись за неделю, тогда как кирпичей почти никогда не заказывали меньше ста тысяч, что обеспечивало работу по крайней мере на месяц, и притом двойному количеству людей.

Между саманщиками и кирпичниками у нас существовал некий добродушный антагонизм, примерно такого типа, как существует между охотниками и рыболо-

вами. Но однажды, когда кто-то из сергиевцев нанюхал выгодный подряд на сотню тысяч кирпичей и, чтобы не упустить его, спешно подыскивал компаньонов, наша конноартиллерийская тройка, хотя и принадлежала к лагерю саманщиков, согласилась принять в этом деле участие. И в результате никто из нас об этом не пожалел.

Работать нужно было возле большого села Броды, в семи километрах от Сеймена. Т. к. нам предстояло пробыть тут не меньше месяца, хозяин на живую нитку соорудил для нас "кулибу", — трехстенный досчатый барак, в котором мы все поместились. Он стоял в тени деревьев, почти на самом берегу Марицы. Тут же шла и наша работа.

"Бригада" кирпичников включала обычно восемь человек. Из них трое беспрерывно готовили "кал", тем же способом что и для самана, только без прибавления соломенной трухи, и вымешивать ногами его надо было



Выделка кирпичей

гораздо тщательнее, ибо малейшие комочки земли и иные примеси отражались на качестве кирпичей. Эти же трое нагружали готовым материалом тачку, — четвертый рабочий её возил и опорожнял на широком деревянном столе, за которым "мастер" при помощи специальной дощечки заполнял этим материалом двухкирпичные деревянные формы- ящички. Шестой и седьмой мотались как белки в колесе: поочередно, поставив на стол порожнюю форму и подхватив наполненную, они бежали с нею на хорошо выравненную площадку для выкладки и там, быстро перевернув форму и оставив на земле два новорожденных кирпича, снова бежали к столу. Это напоминало детскую игру с формочками и мокрым песком, но тут "игра" продолжалась от утреней до вечерней зари, и не будучи убежденным мазохистом посчитать ее приятным развлечением было весьма трудно.

Восьмой персонаж делал подсобные работы: во-первых на сложенном тут же примитивном очаге готовил на всю артель еду, т. к. подряды на кирпич всегда брались на своих, а не на хозяйских харчах; во-вторых, переворачивал на площадке подсыхающие кирпичи, а потом складывал их в "банкеты" и накрывал сверху железными листами. Если работали всемером, то всё это делали совместно они же.

Когда бывало заготовлено пятьдесят тысяч штук "сырца", из них складывали печь для обжига. Она имела форму сильно усеченной пирамиды и кирпичи в ней клались особым образом, с промежутками между слоями и между рядами, — эти промежутки заполнялись мелкой каменноугольной щебенкой и трухой. Кое-где оставлялись поддувала и каналы для тяги воздуха, затем это сооружение со всех сторон обмазывали глиной и снизу поджигали. В этот момент наша работа считалась законченной и мы получали деньги за вложенное в печь количество кирпичей, а разборка печи — это уже было дело хозяина. Горела она недели три, причем в ней развивалась такая температура, что ночами вся пирамида светилась как монолит раскаленного до-красна железа. И потом проходил еще добрый месяц, пока она остывала.



Кладка кирпичной печи для обжигания.

В своем бараке мы навели посильный уют, на внутренних стенах над каждой постелью, взамен визитной карточки, поместили стихотворную эпиграмму на ее владельца, а на фронтоне крупными и красивыми буквами вывели надпись "Вилла Раскесан Живот", по-болгарски это значит "Разбитая жизнь". Дня через два наведался к нам хозяин-заказчик, — прочитал и чуть не заплакал:

— Братушки! Да разве вам здесь так плохо? Может быть вам нужен аванс или еще что-нибудь? Если так, вы мне только скажите...

Мы поспешили его успокоить, сказав что будучи артистами любителями, сейчас разучиваем театральную пьесу, название которой поместили, для вдохновения, над входом в кулибу. В подтверждение своих артистических наклонностей показали ему принесенную с собой гитару.

Надо заметить, что под этой трагической вывеской жили мы не так уж скверно. Компания у нас подобралась дружная и "трепливая", работали мы почти всё время в тени, не слишком страдая от жары, два-три раза в день купались в реке, ели сытно, вечера проводили в веселой болтовне, а потом безмятежно и "бесклоповно" засыпали под пение цикад и лягушек.

Прослышав о нашей привольной, "дачной" жизни, по воскресеньям иногда приходили к нам из Сеймена гости, даже с дамами, и полуэкспромтом устраивались веселые пикники. Везло нам и с погодой, — сильных дождей не было, ни одного кирпича мы не потеряли и проработав тут месяц с лишним, к началу августа сложили вторую печь и с хорошим заработком отправились в казарму отдыхать.





Вилла **«Разбитая Жизнь»**

Еще по дороге в Сеймен, строя планы на ближайшее будущее, мы единогласно решили в первое же воскресенье организовать роскошный пикник и пригласать на него нескольких молодых дам и барышень, пользовавшихся в офицерской среде особенным успехом. Но когда мы принялись действовать в этом направлении, нас ожидал неприятный сюрприз: оказалось, что группа кубанцев предвосхитила нашу идею и в намеченное воскресенье уже пригласила на пикник всех представительниц прекрасного пола, в которых мы были заинтересованы.

— Досадно, — сказал кто-то из наших, когда обсуждалось создавшееся положение. — Конечно, куда вольготнее было бы попикниковать без конкурентов, имея дам в своем единоличном распоряжении, но теперь волей неволей придется объединиться с кубанцами.

Однако объединиться не удалось. Дружба дружбой, но кунаки тоже придерживались того мнения, что ухаживать за дамами лучше без помехи со стороны соперников. Наших толстых намёков на желание присоединиться к их пикнику они упорно не понимали, и в воскресенье, едва спала дневная жара, забрав с собою весь дамский цветник и корзины со снедью, отправились на речушку Юрочку, — традиционное место всех русских пикников и "детских криков на лужайке".

Мы приуныли и обозлились. Но вдруг у кого-то возникла блестящая идея, позволявшая не только разыграть обособившихся кубанцев, но и самим присоединиться к общему веселью. Немедленно был найден и посвящен в наш план В. Субботин, который был не только гарнизонным фотографом, но и гримёром русской театральной труппы. Так как кубанцы в числе прочих барышень увели на пикник и его зазнобу, от этого плана он пришел в полный восторг и не теряя минуты принялся действовать. За каких-нибудь два часа, при помощи театрального реквизита и грима, он превратил нас в таких богомерзких бродяг и оборванцев, что мы сами не в состоянии были распознать друг друга. Точно таким же образом он обработал присоединившегося к нам Оссовского и загримировался сам, после чего, в на-

ступивших сумерках, все мы небольшими группами вышли из казармы, задворками пробрались в ближайший овраг и по его дну спустились в долину Юрочки.

Еще издали мы заметили пикникующую компанию и густой кустарник позволил нам незаметно сосредоточиться шагах в двадцати от неё. Перед нашими взорами теперь развернулась картина вполне идиллическая: посреди поляны пылал большой костёр, а чуть в стороне, на ковре разостланном под деревом, виднелся солидный жбан, как после выяснилось, с крюшоном и вокруг него живописная россыпь всевозможных закусок и бутылок. Видно все уже основательно подкрепились и теперь каждый развлекался согласно своим вкусам и потребностям. Несколько человек сидели на ковре со стаканами в руках и мирно беседовали, остальные разбились на парочки, из коих две уединенно ворковали под деревьями, а три другие, тоже на некоторой дистанции друг от друга, танцевали под звуки патефона, кторый выдавал вальс "Лесная сказка". Всего мы насчитали тут семь дам и восемь кавалеров, из коих старшим был полковник Евгений Васильевич Кравченко, еще молодой и во всех отношениях образцовый офицер, пользовавшийся у нас всеобщей любовью.

Мы решили появиться на поляне не все сразу, а накапливаться на ней постепенно, справедливо рассудив, что в этом случае психологический эффект будет сильнее. Первыми вышли из-за кустов трое самых "живописных", — Оссовский, Субботин и я. Мы остановились в нескольких шагах от костра и молча принялись созерцать происходящее. Появление трех бродяг тут никого, понятно, не встревожило, но на всех произвело заметно неприятное впечатление.

— Вот же принесли сюда черти этих храпоидолов, — минуты через две промолвил кто-то из молодых офицеров. — Уставились на нас, как в цирке и стоят будто к месту приросли! Не наладить ли их отсюда по шеям?

— Да пускай себе стоят, — благодушно отозвался Кравченко. — Смотреть никому не возбраняется, наипаче в своем собственном отечестве. Поглазеют и пойдут своей дорогой.

Но этот прогноз не оправдался, уходить мы не собирались. Наоборот, через несколько минут к нам присоединились еще два оборванца, а затем с небольшими промежутками из-за кустов стали появляться и остальные.

— Ого, уже их восемь, — с некоторой тревогой в голосе заметил наш "корешок" Григорьев. — А вон и еще двое тащатся, тоже наверное не последние!

— И рожи у всех каторжные, прямо как на подбор, — добавил кто-то другой.

— На селяков они не похожи, должно быть какая-то банда. Что будем делать, Евгений Васильевич?

— Да ничего, пока они стоят смирно и никого не трогают, — ответил Кравченко. — С нами дамы и надо по возможности избегать скандала. Ведите себя как ни в чем не бывало, словно их здесь и нет, но будьте начеку.

Не сомневаясь в том, что мы болгары, "неприятель" переговаривался по-русски не таясь, и тем сильно облегчал нам образ действий, — его карты были перед нами открыты. И от созерцания мы начали переходить к активности, явно показывая, что не прочь принять участие в общем весельи. Чуть поодаль от других с дамой моего сердца танцевал красивый сотник Хинцинский. Я подошел к ним вплотную, поглядел с минуту и сиплым голосом по-болгарски сказал:

— Братушка! Я тоже хочу потанцевать. Ты поди отдохни, а мне оставь свою девочку, — ей со мною скучно не будет!

"Девочка" заметно побледнела; Хинцинский ощерился как волк, я прекрасно понимал как пламенно ему хотелось дать мне по уху, но за поясом у меня торчал здоровенный кухонный нож и это принуждало его к сдержанности. Не вступая со мной в пререкания, они начали подтанцовывать ближе к своим, но я топтался вокруг них и продолжал приставать.

В таком же духе вели себя и другие "бандиты". Трое, обступив сидевшую под деревом парочку, громко обменивались впечатлениями относительно красоты и прочих достоинств насмерть перепуганной дамы. Я заметил как она закрыла рукой золотую брошку, прико-

лотую на груди, а потом, улучив минуту, сунула её в траву за своей спиной. Двое приставали к виночерпию, с оттенком угрозы выпрашивая у него по стакану "жибровой".[1]) Но нахальнее всех вел себя Оссовский, — задирая по пути встречных и поперечных, он приближался к ковру, на котором сидел полковник Кравченко.

— Ну, видно придется дать этой сволочи отпор, — промолвил последний. — Приготовтесь-ка, братцы, на всякий случай!

Услыхав это, я благоразумно приотстал от Хинцинского, чтобы он внезапно не треснул меня чем-нибудь по черепу. Оссовский тем временем подошел к самому ковру, поглядел на разложенные тут закуски и одобрительно заметил:

— Добрые люди эти руснаки, еды наготовили на всех! — С этими словами он взял из корзинки пирожок и громко чавкая принялся жевать его. Это переполнило чашу кубанского терпения.

— Господа офицеры, за мной! — крикнул Кравченко и вскочив на ноги сплечá замахнулся на Оссовского. Сохранять инкогнито больше было нельзя. Отскочив в сторону, Оссовский закричал:

— Стойте, Евгений Васильевич, тут все свои!

— То-есть как свои? Кто вы такой? — спросил изумленный полковник, всё еще его не узнавая.

— Подпоручик Оссовский, к вашим услугам!

— Леонид Викторович! Рискованную же вы затеяли шутку: ведь еще секунда и я съездил бы вас по портрету, ну что бы это было?

— Я все время был настороже и, как видите, вовремя закончил игру. Но признайтесь, страху на вас мы все-таки нагнали?

— Да что и говорить, чувствовали мы себя не очень уютно. Нас восемь человек безоружных, с нами женщины, а тут целый десяток отъявленных бандитов, с ножами и, как можно было полагать, с револьверами. Положение было не из приятных!

— А ты кто такой? — спросил меня повеселевший Хинцинский. Я представился. — Мишка, неужели в самом

---

[1]) Жиброва — водка из виноградных выжимок.

деле ты?! Тебя бы с такой харей родная мать не узнала! Ну, давай выпьем по чарке, а потом можешь танцевать с "моей девочкой", если она простит тебе свой испуг.

Ввиду того, что у всей кубанской компании после страшного напряжения нервов теперь сразу отлегло от сердца, на нас не только не рассердились, но приняли с радушием, близким к энтузиазму. В руках у всех очутились наполненные стаканы, начался обмен впечатлениями и дружный хохот.

Пикник закончился наредкость весело и, надо думать его участникам запомнился на всю жизнь.

13. НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ТУРИСТЫ

К середине августа в казарме снова скопилось довольно много офицерской молодежи, которая беспечно проживала свои предыдущие заработки и не спешила с поисками новой рабты. Кое-кто уже совсем выдохся и перешел на кредит, что не ускользнуло от зоркого ока полковника Мамушина. Началась очередная волна гонений и нам пришлось постепенно сдавать свои непрочные позиции.

Первыми ушла искать саман четверка самых "сознательных", во главе с Земсковым, — старшим из молодых офицеров сергиевцев. День или два спустя в поход по окрестным сёлам вышли еще две группы саманщиков. Судя по тому, что в ближайшие дни никто из них не возвратился, работу они нашли. Наша неразлучная тройка, пополненная Тихоновым, тоже была уже накануне выступления, когда неожиданный случай заставил нас переменить планы.

Из соседнего города Харманли приехал наш сергиевец Костя Пахиопуло, служивший там музыкантом в болгарском конном полку. Попутно отмечу, — в Болгарии так люто ненавидели греков, что даже всемогущий полковник Златев не рискнул принять Костю под его подлинной фамилией, и записал как Косту Попова, каковым он после этого и остался до конца своей недолгой жизни.[1]) Теперь он нам сообщил, что в Харман-

---

[1]) К. Пахиопуло сделал в Болгарии блестящую карьеру по пожарной части, и несколько лет спустя, будучи начальником пожарной команды в одном из крупнейших городов страны, трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.

ли для нескольких человек есть выгодная работа: надо выкопать котлован под табачную фабрику, которую там собираются строить. По приблизительным подсчетам подрядчика, предстояло вынуть шестьсот кубических метров земли; платили сдельно, по 35 левов за кубометр и работу надлежало закончить за две недели.

Мы быстро подсчитали, что для этого потребуется десять человек и заработок составит по две тысячи левов на каждого. Это было очень недурно и потому все тут же решили, что следует взять этот подряд.

— А как мы там устроимся с харчами? — поинтересовался Крылов.

— Будете лопать в ресторане, — ответил Пахиопуло, — там их сколько угодно, и вполне пролетарских и совсем приличных. Дороже полтинника в день вам довольствие не обойдется, даже с винишком, а гнать вы будете почти вчетверо больше.

— Ну, а жить где будем?

— Тебе еще летом где-то жить! — возмутился Смирнов. — Тоже выискался барин! Возле постройки, небось, найдется какое-нибудь дерево, под ним и расположимся, а если пойдет дождь, попросимся к кому-нибудь из соседей в сарай — только и всего.

Безработных сергиевцев оставалось в казарме всего семеро, — пополнив группу тремя кубанцами, в тот же день после обеда мы поездом выехали в Харманли, до которого было полчаса езды.

Невзрачный харманлийский вокзальчик находился почти за три километра от города, что очень удивляло неискушенного путешественника: место было идеально ровным и ничто не препятствовало его постройке на самой окраине. Во всяком случае городские власти были в этом настолько уверены, что отказались дать взятку строившему дорогу инженеру, и тот не замедлил научно доказать, что поставить вокзал ближе к городу не позволяют почвенные условия.

По примеру прочих пассажиров, протопав эти три километра пешком, мы вошли в город. Он был невелик, но всё же по сравнению с Сейменом казался столицей. Тут были мощеные улицы, электрическое освещение, не-

сколько вполне приличных магазинов и ресторанов; по воскресеньям в городском скверике играл военный оркестр, а по большим праздникам даже функционировал кинематограф.

Ехавший с нами Коста Попов, урожденный Пахиопуло, немедленно представил нас подрядчику и вместе с ним мы отправились к месту работы. Это был большой пустырь, находившийся почти в самом центре города. Тут подрядчик дал нам все необходимые указания и вручил ключ от сарайчика, в котором хранились инструменты, чтобы мы могли приступить к работе на рассвете следующего дня.

В непосредственной близости мы обнаружили довольно уютный дукьян, куда зашли по окончании дел, чтобы отдохнуть и чем-нибудь освежиться. Узнав зачем мы приехали в Харманли и сразу поняв, что среди нас нет членов общества трезвости, хозяин радушно предложил нам расположиться у него во дворе, под навесом, где мы можем совершенно безвозмездно держать свои вещи и ночевать, пока не закончим работу. Очень довольные столь удачным разрешением жилищного вопроса, мы спросили, нельзя ли будет тут же и столоваться? Но наш кабатчик промышлял только напитками и еды не готовил. Однако он тут же дал нам адрес ресторана, принадлежавшего его родственнику, который, по его словам, будет нас отлично кормить и к тому же, если потребуется, в кредит, до получки.

Мы без труда нашли этот ресторан и были изрядно разочарованы: он оказался вполне приличным, едва ли не лучшим в городе. Нас более устраивала какая-нибудь обжорка, куда бы мы могли приходить в том же виде, в каком работали, ибо на переодевание и наведение на себя хотя бы относительного лоска у нас не было ни времени, ни охоты. Мы без обиняков высказали это хозяину. Последний, очевидно уже знакомый с русскими аппетитами, узнав что нас десять человек и что две недели мы тут будем обедать и ужинать, поспешил нас заверить, что в его учреждении о клиентах судят не по одёжке, а по манерам и прочим нравственным достоинствам. Соглашение было достигнуто, и для начала тут

же сытно поужинав, конечно, в кредит, мы отправились спать. В нашей "гостиннице" под навесом оказалась большая куча свежей соломы, из которой получились роскошные постели.

Заоравшие вокруг петухи разбудили всех на рассвете. Утрений наш туалет много времени не требовал: стряхнув с одежды налипшую солому и сполоснув физиономии дождевой водой из стоявшей во дворе бочки, мы высыпали на пустырь. На всех углах будущего котлована уже были вбиты колышки, мы натянули между ними шнуры и приступили к работе.

Стояла засуха, верхний слой почвы был сухим и твердым, его пришлось кирковать, но глубже земля была податлива, а местами попадался почти чистый песок, так что дело у нас пошло успешно. Когда нáчало сильно припекать солнце, мы рискнули сбросить рубахи, почти не сомневаясь в том, что какие-нибудь блюстители власти и нравственности нас очень скоро призовут к порядку. К нашему удивлению этого не случилось, — публика в Харманли оказалась более либеральной, чем в сёлах и никто нас в развратном поведении не обвинил.

В полдень мы зашабашили и слегка помывшись направились в ресторан, до которого от места работы было кварталов пять. Шли посреди улицы, гурьбой и вид имели вполне экзотический: все были в обрезанных выше колена армейских штанах, у кого защитного, у кого черного цвета; на голые плечи, как гусарские ментики, были наброшены замызганные английские френчи, а головы у всех были обтянуты колпаками, сделанными из верхней части дамских чулок, — в ту пору это был у нас самый модный головной убор. На главной улице прохожие, пяля глаза, довольно громко строили на наш счет всевозможные предположения, а когда мы стали входить в хороший ресторан, какой-то молодой человек явно репортерского вида, приблизился и вежливо спросил:

— Скажите, господа, кто вы такие?

— Новозеландские туристы, — ответил я. — Мы совершаем кругосветное путешествие пешком. Уже про-

шли Тихий океан, Гренландию, пустыню Сахару и третьего дня, прямо из Индии, пришли сюда.

— И нравится вам Болгария?

— Страна хорошая, только дураков много. — Закончив на этом интервью, мы вошли внутрь, уселись за столики, к большому удовлетворению хозяина съели по два, а кто и по три обеда и перекурив отправились продолжать работу.

Дальше всё шло у нас благополучно, мы закончили в срок и наконец наступил день сдачи готового котлована подрядчику, — после обеда он должен был произвести точный обмер сделанного и соответсвенно с нами расплатиться. Разумеется, предварительно мы всё вымеряли сами, причем обратили внимание на следующее обстоятельство: котлован имел форму буквы Г, но "палочки" этой гигантской буквы смежались не под прямым, а чуть острым углом, что, конечно, должно было отразиться на измерении кубатуры.

— Так вот, братцы, — сказал Тихонов, произведя подсчет: — на самом деле мы выкопали 586 кубических метров. Но если подрядчик не сообразит, что тут острый угол и посчитает его за прямой, получится на 28 метров больше.

— Черта с два не сообразит, он на таких делах собаку съел, — промолвил Крылов. — Еще и на этом остром углу нас обсчитать попробует!

— Желание обсчитать у него безусловно будет, но в геометрии он едва ли силён. Во всяком случае попытаемся всучить ему этот угол за прямой.

— Правильно, — добавил Смирнов. — Но я человек суеверный, и чтобы дело выгорело, предлагаю дать заранее обет: в случае успеха, весь излишек этим же вечером пропьем, ведь пóезда на Сеймен сегодня уже нет и ночевать всё равно придется здесь.

Все с энтузиазмом приняли это предложение, а я пополнил его следующим, тоже единодушно одобренным:

— Ликвидацию излишка организуем не в ресторане, а в "своем" дукьяне. Надо же чем-то отблагодарить хозяина за гостеприимство.

Успех сдачи котлована превзошел наши ожидания: подрядчик не только посчитал угол прямым, но сверх того еще намерял на три кубических метра больше чем получалось у нас. Иными словами, нам заплатили почти тысячу сто левов лишних.

Вечером мы довольно скромно поужинали в своём обычном ресторане, рассчитались с хозяином и около восьми вернувшись "домой", удобно расположились в почти пустом дукьяне, сдвинув вместе три столика.

— С чего начнем? — деловито спросил Смирнов.

— Заказывай литр сливовицы, а дальше будет видно, — ответил я.

— Постойте, господа, — вмешался Тихонов. — Мне кажется, вы не учитываете всей трудности нашего положения: сливуха и прочие виды водки стóют по 50 левов литр, а мы дали обет пропить за эту ночь, и в этом дукьяне, тысячу сто левов. Выходит больше двух литров на рыло. А если будем пить вино, придется выпить по целому ведру. Дело немыслимое!

— Значит надо пить более дорогие напитки, только и всего. Шампанское здесь найдется?

— В таком кабаке шампанское! Ишь чего захотел!

— Зови хозяина, сейчас его расспросим!

Из интервью с дукьянщиком выяснилось, что кроме напитков явно неподходящих нам по цене (их стоимость не превышала семидесяти левов за литр), у него есть целая батарея ликёров, которые он приобрел на заре своей деятельности, когда еще верил в людей и в их эстетические запросы. Но его клиентура пила только водку, вино и кофе, а ликёры в своей девственной неприкосновенности до сих пор стоят на верхней полке, покрытые толстым слоем пыли. Стóили они по сто левов бутылка.[2])

— Ну что ж, займемся ликёрами, — сказал Крылов. — Десять бутылок за ночь с Божьей помощью одолеем. Хозяин, для начала гони на стол бенедиктин, да лучше сразу в двух экземплярах.

Бенедиктин был недурён и эти первые две бутылки

---

[2]) Бутылки были литрового объема.

мы выпили не без удовольствия, придерживаясь всех правил хорошего тона. Но на третьей кто-то заметил:

— Если мы будем так его смаковать, то нашу программу и за два дня не выполним. Предлагаю впредь обращаться с ликёром как с водкой и глушить рюмку одним глотком.

— Правильно! Только при этом нужна какая-нибудь подходящая закусь.

Но увы, хозяин уже давно не верил, что кто-нибудь станет здесь пить ликёры, у него не нашлось даже печенья. Он мог нам предложить только сушеную воблу и чеснок. Это под ликёры-то! Мы с негодованием отказались. Час был уже поздний, лавки давно закрылись и наша попытка купить что-нибудь в городе успехом не увенчалась. Мы выпили еще бутылку шартреза под воспоминания и бутылку мараскина под анекдоты, а потом заказали кюрасо . . . воблу и чеснок.

Десятую бутылку с трудом прикончили в пять часов утра. Помню, это был "анис", — меня до сих пор мутит при одном упоминании об этом ликёре. Кое-как мы добрались до своего логова и повалились на солому.

Обет был честно выполнен, но более отвратительного "каца" никто из нас за всю жизнь не переживал. Утром, стоило сесть или даже только приподнять голову и казалось, что по ней начинали колотить кувалдой; в недрах организма творилось что-то жуткое, во рту будто переночевал хорёк... Проклиная подрядчика, не сумевшего правильно подсчитать кубатуру, мы провалялись под навесом до обеда, затем семерым удалось во-время добраться до вокзала и уехать. Крылов, Тихонов и я к сейменскому поезду опоздали, с горя основательно пообедали, опохмелились и снова улеглись спать.

Проснулись мы уже в сумерках, теперь чувствовали себя вполне нормально и чтобы не томиться тут почти сутки, до следующего поезда на Сеймен, решили идти туда пешком, — расстояние не превышало двенадцати километров и ночь обещала быть светлой. Но вопреки этому, небо вскоре начало покрываться тяжелыми тучами и на половине пути нас настигла гроза. В кромешной тьме сбившись с пути, мы двигались наугад, надеясь на-

брести на какое-нибудь укрытие от начинающегося дождя. Наконец увидели вдалеке слабо мерцающий огонёк и пошли на него.

Это оказалась маленькая и ветхая водяная мельница, стоявшая на берегу Марицы. Одиноко живший там старик мельник принял нас радушно, угостил хлебом и арбузами, потом притащил откуда-то большую охапку душистого сена, которая послужила нам постелью.

Этот случайный ночлег запомнился мне навсегда, ибо все сами по себе убогие детали этой обстановки так гармонично сливались в нечто почти колдовское, порождающее чувство какого-то особого уюта и умиротворения. Снаружи бушевала гроза, постепенно удаляясь, под полом нашего помещения монотонно кряхтели жернова, — мельница работала, с её медленно вращавшегося колеса мелодично сбегали струйки воды, а в запруде лягушки восторженным хором славили Бога за то, что не создал их людьми и не усложнил их жизни политическими проблемами.

Всё это сладостно убаюкивало, мягко наплывал сон, но я долго старался не поддаться ему, чтобы полнее насладиться этим полусказочным очарованием.

14. УЛЫБКИ ОСЕНИ

Наступил сентябрь, не за горами была новая зима. Сезонные работы в сёлах кончились, близость осенних дождей положила конец полевому производству кирпичей, даже небольшой заказ на саман в эту пору можно было получить только в виде счастливого исключения. В казарму прибывало всё больше безработных офицеров, но предстоящая зимовка уже не грозила нам такими бедствиями, как предыдущая. Денег, правда, никто не подкопил, но старые долги были уплачены, значит открывалась возможность кое-где пользоваться кредитом; некоторые, работая по сёлам, заручились заказами на "обрешту", а главное — жили мы теперь не в сыром и холодном подвале, а в относительно благоустроенных помещениях. Но всё же, отдавая себе отчет в том, что предстоит долгий период почти полного безденежья, сейчас все старались использовать последние возможности как-то увеличить свои скудные фонды.

Из осенних работ имелась одна для всех вожделенная, но мало кому доступная: погрузка в вагоны сахарной свёклы. Её в большом количестве выращивали здешние крестьяне и всю их продукцию скупал какой-то крупный сахарный завод в Северной Болгарии. Приёмным пунктом была станция Калугерово, — туда все свозили свой урожай и после взвешиванья сваливали его прямо под открытым небом, так что к началу погрузки вдоль одного из запасных путей здесь выростал свекольный вал высотою в два-три человеческих роста и длиною метров двести.

Насчёт погрузки всей этой свёклы в вагоны, прием-

щик договаривался с каким-либо одним, опытным рабочим, которому поручалась организация дела, и он уже сам подбирал себе сколько требовалось помощников, сообразуясь с количеством свёклы и прочими обстоятельствами. Эта работа была чрезвычайно тяжелой, но исключительно выгодной, — она оплачивалась сдельно и тут за сезон, который в среднем продолжался недели три, можно было выгнать до пяти тысяч левов на каждого участника.

Монополию на эту погрузку из года в год держали в своих руках кубанцы, которые обосновались здесь раньше нас и установили с приёмщиками прочные связи. Так вышло и в этом году: подряд на погрузку получил есаул Скориков, но в силу не помню уж каких причин, из шести нужных ему человек он взял только троих казаков, а остальные три вакансии предложил Тихонову, Смирнову и мне, на что мы, разумеется, с радостью согласились. Мимоходом отмечу: одним из вошедших в эту группу кубанцев был сам начальник нашего гарнизона, генерал Олег Иванович Лебедев. Скориков, подбиравший в компанию самых выносливых и втянутых в работу людей, конечно, постеснялся ему отказать, хотя генерала никак нельзя было отнести к этой категории. Но к общему благополучию он проработал всего три дня, а потом "сдался" и под каким-то благовидным предлогом возвратился в Сеймен. Надо отдать ему справедливость: на работе он держал себя с нами безукоризненно, — с достоинством, но как равный во всём член артели, и в этом отношении на капитана Арнольда нисколько не походил.

Свёклу надо было грузить в двадцатитонные вагоны-платформы с высокими бортами . Ту, что находилась ближе к железнодорожному полотну, метали в вагон особыми вилами, — с шариками на остриях, — но по крайней мере две трети её лежали на таком расстоянии, что вилами не добросишь, и тут приходилось действовать иначе: двое, при помощи тех же вил, беспрерывно наполняли свёклой большие, плетенные из грубого лыка корзины, третий их носил. Ему с маху вскидывали на пра-



На погрузке сахарной свёклы.
Слева направо: М. Каратеев, Б. Тихонов, В. Смирнов, есаул Скориков и сотник К. Григорьев.

вое плечо четырехпудовую корзину, — придерживая её рукой, он по доске взбегал на вагон, вываливал туда свёклу и бежал вниз, где ему на плечо сейчас же взлетала следующая корзина. При этом сильно страдало правое ухо, т. к. времени и возможности деликатно подавать на плечо груженную корзину ни у кого не было, — всё делалось на предельных скоростях. Периодически все менялись ролями.

Неприятной особенностью этой работы было то, что тут не существовало какого-либо расписания и установленных часов отдыха и сна. В подаче вагонов не было определенного порядка, — никто не знал, когда и сколько их пришлют. Иной раз приходило восемь или десять, а бывало придет сразу вдвое больше, и надо было их все нагрузить в кратчайший срок, т. к. фрахт оплачи-

вался компанией посуточно и возрастал в геометрической прогрессии. Таким образом, если вагоны были, приходилось работать и днём и ночью, в любую погоду, с короткими перерывами для еды, иногда несколько суток подряд, — в этих случаях мы по-очереди "выключались" часа на два, чтобы хоть немного поспать. Затем наступал перерыв, до прихода следующей партии вагонов. Иногда их пригоняли уже через несколько часов, и не успев как следует отдохнуть, надо было снова браться за погрузку. А иной раз вагонов приходилось ждать по два-три дня, тогда мы отсыпались под станционным навесом и слегка подлечивали свои истерзанные корзинами уши.

Такое весёлое времяпровождение продолжалось у нас около месяца, но увенчалось оно отличным заработком. При умении подзажаться, его могло бы хватить на всю зиму. Но этому препятствовала мечта, которую я лелеял давно, теперь можно было её осуществить: разделаться раз навсегда с куцой и осточертевшей мне английской шинелью и заказать себе русскую, разумеется, самую тонную, — кавалерийского образца, — длина до шпор, обшлага "ласточками" и прочее...

Шинель получилась "на ять", но денег у меня осталось не густо.

**
*

Подходил к концу октябрь. Стояла дождливая осень, казарменный плац и улицы городка были покрыты лужами и непролазной грязью. Все прежние источники наших заработков полностью иссякли, прекратились даже постройки. До начала "обрешты" надо было ждать еще месяц и для большинства обитателей казармы наступил период острого безденежья. В эту пору мы не брезгали возможностью подработать даже какую-нибудь мелочишку, но и такие случаи подворачивались редко. За весь октябрь мне удалось проработать всего полтора дня на очистке какого-то двора и я полагал, что щедрости осенней судьбы на этом для меня закончились. Но однажды, когда я от нечего делать корпел

над каким-то злободневным стихотворением, в комнату вошел Смирнов и спросил:

— Миша, тебе не случалось когда-нибудь иметь дело со штукатуркой?

— От этого Бог миловал, — ответил я. — Мой строительный стаж ограничился всего пятью днями, да и то меня там употребляли в качестве ишака для таскания кирпичей. А чего это ты вдруг заинтересовался штукатуркой?

— Да можно на этом немного подработать. Возвращаясь из города, зашел я по пути в кабак, — знаешь, второй отсюда, на углу, возле пекарни? Ну, там почти над самой стойкой обвалился кусок потолка, и хозяин меня спросил, нет ли у нас кого-нибудь, кто мог бы эту дыру поскорей заделать. Я, конечно, не сморгнув ответил, что сегодня же приведу мастера, и уже с дукьянщиком договорился: даёт двести левов и сверх того обещает угостить вином.

— Надо спросить казака, может быть он в этом что-нибудь смыслит. Во всяком случае, если там бесплатно будут поить вином, пойдем все трое и авось кривая вывезет.

Выслушав нас, Крылов храбро заявил:

— О чем тут еще думать? Я то сам не штукатурил, но это плёвое дело! Помню, у нас в станице, когда я еще пацаном был, штукатурили потолок. Рабочий из ведёрка шлёпал на него лопатой какое-то снадобье, и так здорово прилипало, любо было глядеть! Потом разровнял дощечкой, и всё.

— А каким снадобьем он шлёпал?

— Ну, этого я уж не помню. Должно быть глиной.

— А может извёсткой? Или цементом?

— Да по существу годится и то и другое, и третье. Но на кой ляд мы будем искать где-то извёстку и за нее платить, когда вокруг сколько угодно бесплатной глины и держит она получше всякого цемента. Ступишь в здешнюю грязь, так прямо хоть из сапог вылезай!

— Значит, берём глину и дело с концом. Но может быть к ней нужно что-нибудь добавлять? А то еще чего доброго обвалится наш потолок, — усомнился я.

— Авось не обвалится пока получим деньги и надуемся вином. А что будет потом, не так уж важно. Ни о каких гарантиях речи не было.

— Ну ладно, казак, значит ты у нас за главного мастера. И когда придем в дукьян, побольше амбиции! Держись самоуверенно, что-бы хозяину и в голову не пришло, что мы такие же штукатуры, как он профессор богословия.

После обеда, раздобыв штукатурную лопатку, дощечку для расфасовки и приготовив ведро глиняного раствора, мы прибыли на место происшествия. На потолке зияла причудливой формы прогалина, довольно узкая, но длиной более метра. Под обвалившимся слоем штукатурки там обнажились прибитые накрест дранки.

Крылов был великолепен. Со сдержанной благосклонностью поздоровавшись с дукьянщиком, он принял позу Наполеона перед сражением, с минуту вдохновенно глядел на дыру в потолке, затем, по его указанию, мы со Смирновым подставили снизу большой стол, а на него воодрузили скамейку, — по высоте этого оказалось достаточно и наш мастер полез наверх. Пристроив возле себя ведро, он набрал на лопатку глины и небрежно-уверенным жестом метнул её в потолок. Весь заряд целиком в ту же секунду свалился ему на голову. Отряхнувшись, он метнул еще, и сразу посторонился, благодаря чему глина упала теперь не на него, а на стол. Это уже был явный прогресс.

Вполголоса обвинив в своих неудачах скамейку, Крылов с деловым видом её немного передвинул, снова взгромоздился наверх и несколько раз повторил свою попытку прилепить к потолку хоть немного глины, но увы, с прежним неуспехом. По счастью кабатчик в это время был чем-то занят и на нас не смотрел, но всё же мы забеспокоились.

— Никак не пристаёт, сволочь, — сокрушенно промолвил Крылов. — Наверно надо было добавить в глину соломенной трухи.

— Подлей воды, — сказал Смирнов, — видно раствор слишком густ. А то попробуй сначала слегка смо-

чить потолок, может быть к мокрому будет липнуть лучше.

Этот совет оказался спасительным, дело сразу пошло успешней. Подналовчился и "мастер", в скором времени он зшлёпал всю дыру глиной, но когда начал выглаживать дощечкой, его штукатурка, прилипая к ней, стала пластами отделяться от потолка. Мы совсем было пали духом, но на этот раз нас осенило быстрей: дощечку тоже надо было мочить водой.

Через два часа работа была благополучно окончена. Хозяин остался, повидимому, доволен, он заплатил нам двести левов и поставил на стол бутыль вина. Мы выпили по три стакана, -- можно было бы и еще, но не слишком доверяя прочности своей скульптуры, благоразумно решили долго тут не засиживаться.

Прошло три дня. Вечером мы, человек десять, сидели в собрании и пили по-осеннему скудный чай, когда вошел "Дед" Залесский. Вид у него был явно возбужденный.

— Признавайтесь, гады, кто чинил потолок в кабаке, возле пекарни? — спросил он, усаживаясь за стол.

— А почему это тебя интересует? — осведомился я.

— Да потому, что мне из-за этих горе-мастеров чуть шею не накостыляли. Проходил мимо, — дай, думаю, зайду выпью рюмку сливухи. Вхожу и вижу, что за чёрт, — весь пол и стойка засыпаны штукатуркой, в потолке здоровенная дыра, а хозяин на меня лезет чуть не с кулаками и кричит: "погляди, это ваши русские мастера мне чинили, чтоб их собаки съели, — теперь вдвое больше обвалилось, чем прежде было!" Интересно, кто это ему удружил?

— Выходи, казак, кланяйся, — со смехом сказал Смирнов.

15. ОТЪЕЗД

Со времени нашего производства в офицеры прошло около трех лет. Мы жили в тех же условиях, попрежнему кормились непостоянными заработками на самых тяжелых работах и, оставаясь в Тырново-Сеймене, рассчитывать на лучшее будущее, конечно, не могли. Нас продолжало удерживать здесь только чувство крепкой товарищеской спайки, превратившей всех как бы в одну семью, да наличие казармы, под кровом которой мы из чернорабочих снова превращались в русских офицеров. Но вместе с тем все уже давно поняли, что вечно оставаться полубатраками-полуофицерами нельзя, — нужно искать какие-то выходы из тупика и устраивать свою жизнь на более прочных основах. Самый прямой путь к этому открывало высшее образование, и сергиевская молодежь постепенно потянула в Чехословакию, единственную в то время страну, где нашему брату возможно было поступить в высшие учебные заведения и выхлопотать полунищенскую стипендию.

К концу 1925 года, подкопив на дорогу деньжат, туда уже уехали многие члены нашей сейменской группы. Все они благополучно устроились, кто в университет, кто в горную академию, своей судьбой были довольны и звали в Чехию остальных. Наконец решил ехать и я, тем более что к этому времени из Советской России чудом выбрался мой отец, которого я считал давно расстрелянным. Он почти сразу получил хорошую службу в Южной Америке и начал мне денежно помогать, так что в этом отношении у меня никаких затруднений больше не было.

Надо было начинать с приобретения штатского ко-

стюма. Попав с десятилетнего возраста в кадетский корпус, я его никогда в жизни не носил и в этой чуждой мне области был полным профаном. Решил довериться искусству и вкусу хорошего портного, — в Сеймене таковых не было и я отправился в Старую Загору, самый крупный из городов, находившихся в относительной близости. Там, отыскав лучшего портного, без утайки ему признался, что в штатских костюмах ничего не смыслю, но хочу одеться прилично, в соответствии со всеми требованьями моды и хорошего тона, а за ценою не постою. Портной заверил, что обмундирует меня на зависть самому принцу Уэльскому, — который был тогда законодателем мужских мод, — затем мы выбрали материю, он меня добросовестно обмерял и попросил через неделю явиться на примерку.

Еще через неделю костюм был готов. Когда я его надел и портной с гордостью подвел меня к большому зеркалу, в нем отразилась фигура до изумления смешная и мерзкая. Надо пояснить, что в области мужских костюмов в те годы царила исключительно безобразная мода: мешковатый пиджак, с невероятно растопыренными при помощи ватных подкладок плечами, (а они у меня и сами по себе очень широки); штаны, в верхней части широкие, как у турецких хамалов, книзу суживались буквально в трубочку, а по длине доходили до половины растояния между коленом и щиколоткой. Вобщем выглядел я в этом костюме как огородное пугало, но портной меня со всей искренностью принялся уверять, что именно так теперь надлежит выглядеть подлинному джентельмену, в доказательство показал многочисленные рисунки из модных журналов, — винить его было не в чем, я расплатился и взял костюм.

Надо было купить и все прочие детали штатского туалета. Тот же благодетель портной меня на этот счет просветил, сказав что ботинки к моему костюму тоже полагаются самые модные, с очень острыми носами, галстуки светлых тонов, а рубахи мне нужно покупать номер сорок. Однако с этим последним не согласился хозяин магазина, в который я пришел. Очевидно ему

очень хотелось сбыть мне залежавшиеся рубахи тридцать восьмого номера и он, произведя соответствующие измерения, сумел меня убедить, что это и есть мой размер. С галстуками все прошло благополучно, но с ботинками получилось хуже: мой номер 42, но так как в обязательное по моде "острие" пальцы влезть никак не могли, мне пришлось взять номер 45. При ходьбе я этими острыми носами то и дело втыкался в землю и пока доехал в своем новом обмундировании до Сеймена, они успели загнуться кверху, как на средневековых татарских сапогах, а воротничек рубахи меня едва не задушил. Придя в казарму, я немедленно переоделся в военное, а все свои старозагорские приобретения тут же раздарил тем, кому они по росту и размеру могли как-нибудь пригодиться.

После этого, уже не спрашивая и не слушая ничьих компетентных советов, я купил себе скромный, устарелого образца готовый костюмчик, нормальные ботинки и рубашки, путём долгих и упорных трудов овладел искусством без посторонней помощи завязывать галстук, и в смысле экипировки был полностью готов к путешествию.

Будучи лишенными почти всех общечеловеческих прав, ехать обычным порядком мы не могли, прежде всего потому, что Чехословакия, как и все прочие страны мира, — за исключением одной Боливии, — не давала нам въездных виз. Надо было пробираться туда нелегально, "аки тати в нощи", но это тоже было сопряжено с такими трудностями, что действуя самостоятельно, преодолеть их было почти невозможно. Однако, когда на что-нибудь возникает большой спрос, неизменно появляются и предложения. Так вышло и тут: ловкие дельцы учредили в Софии полуконспиративную организацию, которая за определенную и сравнительно божескую цену начала контрабандой переправлять русскую молодежь из Болгарии в Чехию.

Эта организация добывала клиенту паспорт Лиги Наций (в просторечьи называвшийся нансеновским) и по этому паспорту получала ему конечную визу в Боливию. Имея её, уже нетрудно было получить транзит-

ные визы через все попутные страны Европы: Югославию, Австрию, Германию и Францию, где подразумевалась посадка такого липового путешественника на океанский пароход. Затем, когда всё это бывало должным образом оформлено, составлялась группа, обычно включавшая пять-шесть человек. Их в Софии сажали на поезд и они вполне законно и благополучно доезжали до Вены, от которой до чешской границы рукой подать. На венском вокзале их уже ждал агент организации, с которым они ночью подъезжали к границе, откуда он глухими тропами вёл их пешком до ближайшей чехословацкой станции, покупал билеты до Праги и сажал их в поезд, — на этом его роль кончалась. Дальше всё было уже, если и не легко, то просто: в Праге, вдоволь наголодавшись и натерев на боках мозоли от спанья на столах и под столами переполненных студенческих общежитий, — при помощи местных русских организаций и единственного среди влиятельных чехов нашего защитника и покровителя, доктора Крамаржа, все в конце концов получали необходимые документы и грошовую стипендию для поступления в одно из высших учебных заведений страны.

Вскользь замечу, что всё это давало чехам повод считать себя нашими благодетелями. Но едва ли общий объем этих "благодеяний" превысил сотую долю присвоенной ими русской золотой казны.

По этой проторенной дорожке двинулся и я. Шестерка, в которую меня включили, выехала в начале декабря. Из своих спутников я никого раньше не знал, это были три окончившие в Софии гимназиста и два молодых офицера, — сапёр и казак-атаманец. Они оказались славными ребятами, мы ехали весело болтая и делясь своими планами на будущее. Не знаю как у других, но мои планы очень скоро пошли на смарку.

Последние дни стояла промозглая, холодная погода, пальто у меня не было и видно еще в Софии я простудился. Подъезжая к югославской границе, уже чувствовал себя совсем больным, дальше хуже, — меня знобило, болело горло, голова будто налилась свинцом, и я понял, что если в таком состоянии буду продолжать пу-

тешествие, то при ночном переходе границы, — где надо было по снегу, трудной дорогой, идти пешком около десяти километров, — могу подвести всю группу, которая из-за меня рискует засыпаться. И несмотря на уговоры спутников, предлагавших, в случае надобности, даже нести меня на руках, — я решил слезть с поезда в Белграде, где имел много друзей, а по выздоровлении присоединиться к следующей группе, которая недели через две должна была выехать из Софии.

В белградском университете в ту пору училось много моих однокашников по корпусу, с некоторыми из них я переписывался и знал их адреса. К этому времени русские студенты жили здесь уже не в сараях-общежитиях и не в старых трамвайных вагонах, а по несколько человек сообща нанимали комнаты или небольшие квартиры, одну из которых я легко нашел. Она состояла из двух смежных комнат и жили в ней шесть человек, в том числе два моих одноклассника, — Ростислав Попов и Костя Лейман. Моё неожиданное появление их чрезвычайно удивило и обрадовало. Меня тотчас уложили в чью-то постель, напоили горячим чаем и позвали русского врача. Моя болезнь оказалась простой ангиной, через три дня я был совершенно здоров и стал ожидать проезда через Белград очередной партии "чехов". Лишней кровати не было, но на ночь мы снимали с петель внутренюю дверь, клали её на подставки из книг и чемоданов, на подстилку и укрывание каждый жертвовал, что мог и я укладывался на эту импровизированную постель.

Шли дни, повидал я многих старых друзей и все они в один голос твердили: "зачем тебе ехать куда-то в Чехию, когда в университет с таким же успехом можно поступить в Белграде? Тем более, что в получении стипендии ты не заинтересован, поелику отец тебе ежемесячно присылает сумму, которая в несколько раз превышает размер этой стипендии. Оставайся здесь и будешь учиться вместе с нами".

Уговорили меня без особого труда, особенно когда в этих уговорах приняли горячее участие некоторые

знакомые барышни студентки. Но для поступления в университет нужны были местные документы, у меня их не было, а признание в том, что я случайно попал сюда из Болгарии, было равносильно немедленной высылке, а то и тюрьме. Как повелось спокон веков у всех добрых соседей-славян, сербы и болгары ненавидели друг друга лютой ненавистью, и в каждом нелегально прибывшим из-за "братской" границы непременно усматривали шпиона или диверсанта. Виз из Болгарии в Югославию не давали никому, и русским при необходимости не оставалось ничего иного, как где-нибудь в глухом месте ночью перейти границу, рискуя жизнью. Было немало случаев, когда люди, пустившиеся в такой путь, бесследно исчезали, — при поимке их, очевидно, просто убивали.

В те годы в Белграде еще проживал и пользовался всеми правами бывший царский посол Штрандман. По совету друзей, я отправился к нему и откровенно изложил все обстоятельства своего дела. Штрандман подумал и сказал:

— Я мог бы вам выдать русский паспорт, — в других странах он ничего не стоит, но здесь, в Югославии, с ним считаются, ибо он служит доказательством того, что его обладатель живет в этой стране и мне известен. По этому паспорту вы без затруднений получите в местной полиции югославское удостоверение личности и ваше положение будет легализовано. Но для выдачи паспорта мне необходимо законное основание, — какой-нибудь документ, доказывающий, что вы попали сюда вместе с другими русскими беженцами и обосновались здесь. И я тут вижу довольно простой выход: судя по вашим словам, вы приехали в Югославию с кадетским корпусом и тут его окончили. Этот корпус существует поныне и находится в городе Белая Церковь. Поезжайте туда, расскажите свою историю директору и попросите его удостоверить, что по окончании корпуса вы там остались в качестве какого-либо служащего, а теперь собираетесь записаться в университет и вам необходимо получить соответствующие документы. Если такую бумажку он даст, я сейчас же выдам вам паспорт.

Сердечно поблагодарив Штрандмана, я последовал его совету. Чтобы из Белграда попасть в Белую Церковь, надо было часа два плыть по Дунаю пароходом, до города Панчево, а оттуда еще четыре часа ехать поездом. Как я предварительно выяснил, пароходные билеты в кассе продавали без предъявления документов, но их проверяли при посадке. Значит, на пароход надо было проскочить фуксом, а дальше уже никакой опасности не было. На случай, если меня поймают, я взял с собою аттестат об окончании корпуса, выданный мне в Югославии, а всё что могло изобличить мое пребывание в Болгарии, предусмотрительно оставил в Белграде.

На пароход мне удалось прошмыгнуть благополучно и я без всяких осложнений доехал до Панчево. Было около шести часов вечера, я прошел на вокзал, купил билет в Белую Церковь и узнал, что поезд туда отходит в девять сорок. Чтобы не томиться почти четыре часа на замызганном и холодном вокзале, я вышел на площадь, высмотрел поблизости небольшой ресторанчик и зашел в него. Народу там было мало, я сел за двухместный столик в углу, заказал бутылку вина, и потягивая его погрузился в ожидание.

Помаленьку ресторан наполнялся людьми и вскоре свободных столиков не осталось. Так как за моим еще было место, ко мне подошел какой-то вполне прилично одетый мужчина и вежливо попросил разрешения его занять. Я, конечно, изъявил согласие. Он тоже заказал бутылку вина и попытался со мною по-сербски заговорить, я ему по-русски ответил, что этим языком не владею. После этого он оставил меня в покое и принялся читать газету.

Не прошло и четверти часа, как в ресторан вошли двое полицейских и какой-то штатский.

— Всем выложить документы на столики и не двигаться с места! — громко скомандовал он. Оба полицейские вытащили револьверы. Мой визави вывалил из кармана с полдюжины всяких удостоверений, я с завистью посмотрел на него и положил перед собой аттестат, решив прикидываться дурачком, не знающим что после окончания корпуса нужно было обзавестись ка-

кими-то иными документами. В крайнем случае меня изругают и отправят в корпус, думал я, а мне только того и надо.

Переходя от столика к столику, сыщик довольно бегло просматривал документы и после этого каждому говорил "свободен". Но возле нас он задержался, к бумагам моего случайного соседа проявил исключительный интерес, затем внезапно выхватил из кармана пистолет и крикнул:

— Тебя то мы и ищем! Руки вверх! И ты тоже! — добавил он, обращаясь ко мне. Мы подняли руки. Подошли полицейские, нас обыскали, у моего товарища по несчастью нашли и отобрали револьвер. Сыщик тем временем сгрёб со стола все его документы и мой аттестат, на который он даже не взглянул, после чего нас вытолкали наружу и повели куда-то по темной и пустынной улице. По дороге я попытался объяснить представителю власти, что я русский и влип в эту неизвестную мне историю совершенно случайно, но он только буркнул:

— Следователь разберет, а пока помалкивай!

Нас привели в полицию и заперли в небольшой комнате, где стояли стол, несколько стульев и топилась печка. Минуты три мы сидели молча, потом мой "соучастник" промолвил:

— У меня с полицией крупные счеты и мое дело плохо. Но вам бояться нечего, я скажу что вы тут не причем и вас, конечно, отпустят. Он сказал это по-сербски, но я его понял и пробормотал "спасибо". Этот человек, кто бы он ни был, внушал мне симпатию.

Через полчаса пришел пожилой жандармский офицер и сразу принялся его допрашивать. Из их разговора я понял, что они сегодня встретились не впервые, и что за ресторанным столиком судьба свела меня с незаурядным бандитом или террористом. Своих деяний он не отрицал, — очевидно это было бесполезно, — и потому допрос длился недолго.

— А этот парень из твой шайки? — под конец спросил офицер, указывая на меня.

— Да нет, это какой-то рус и его совершенно зря

схватили только потому, что я подсел к его столику. Я его прежде никогда не видел.

— Кто вы такой? И что делаете в Панчево? — по-русски спросил жандарм, окидывая меня взглядом.

— Я бывший кадет русского кадетского корпуса. Здесь нахожусь проездом из Белграда в Белую Церковь, ждал поезда, вот мой железнодорожный билет.

— Ваши документы!

— У меня с собой был аттестат об окончании корпуса, его у меня при аресте отобрали.

Офицер покопался в лежавших на столе документах, нашел мой аттестат, просмотрел его, и отдавая мне сказал:

— Это не то, что требуется. Где ваше удостоверение личности?

— По окончании я все время жил при корпусе и никуда не выезжал, так что оно мне было без надобности. А сегодня ездил в Белград именно для того, чтобы начать хлопоты о его получении.

— Это надо было сделать уже несколько лет назад! Законами пренебрегать нельзя, вы же не дикарь и, судя по вашему аттестату, не дурак. Отправляйтесь немедленно в Белую Церковь и если еще раз попадетесь без документов, так дешево не отделаетесь!

Я пулей вылетел из полиции и еще успел попасть на свой поезд.

***

Директором Крымского корпуса в это время был уже не "Дед" Римский-Корсаков, который меня не жаловал, а генерал-лейтенант М. Н. Промтов. В прошлом это был воспитанник Петровского-Полтавского кадетского корпуса, строевой артиллерийский офицер и Георгиевский кавалер, — все эти обстоятельства нас до некоторой степени роднили. Он принял меня тепло, приказал выдать из корпусной канцелярии нужную для Штрандмана справку и сверх того предложил мне пожить некоторое время при корпусе, в качестве гостя. Конечно, я с благодарностью воспользовался этим приглашением.

Корпус помещался в благоустроенной каменной казарме, в нём царили образцовый порядок и дисциплина, — времён стернищенской вольницы ничто не напоминало и сразу было заметно, что теперь тут правят твердой рукой. Кадеты были подтянуты и отлично, строго по форме одеты. Как по внешнему виду, так и по духу, они ничем не отличались от своих однокашников, окончивших раньше, — на них было приятно глядеть.

Прожив в корпусе больше месяца, я вернулся в Белград, получил все необходимые документы и поступил в университет. Но судьба мне не судила пробыть в нем долго: через несколько месяцев мой отец потерял службу и на неопределенное время вынужден был прекратить высылку мне денег. Получить в Югославии стипендию в эти годы было уже невозможно, — предстояло снова переходить на рабочее положение. И я предпочёл возвратиться в Болгарию, где заработки были выше, а условия жизни привычней и приятней.

Только два года спустя мне удалось выехать оттуда в Западную Европу и получить высшее образование в Бельгии.

Конец.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На "офицерских вакансиях"

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

ЯРЛЫК ВЕЛИКОГО ХАНА, исторический роман, первое издание 1958 г. Распродано.

КАРАЧ-МУРЗА, исторический роман, издание 1962 г. Распродано.

БОГАТЫРИ ПРОСНУЛИСЬ, исторический роман, издание 1968 г. Распродано.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХРОМЕЦ, исторический роман, издание 1967 г. Распродано.

ВОЗВРАЩЕНИЕ, исторический роман, издание 1967 г. Распродано.

ИЗ НАШЕГО ПРОШЛОГО, исторические очерки, издание 1968 г. Распродано.

АРАБЕСКИ ИСТОРИИ, исторические очерки, издание 1971 г.

ПО СЛЕДАМ КОНКВИСТАДОРОВ, эпопея группы русских колонистов в Парагвае, изд. 1972 г. Распродано.

ЯРЛЫК ВЕЛИКОГО ХАНА, второе, дополненное и иллюстрированное издание 1973-74 г.г., в двух томах.

**
*

ЕЩЕ НЕ ИЗДАНЫ:

РОССИЯ В УРУГВАЕ, очерки из жизни русских колонистов.

НА РУДНИКАХ БОЛИВИИ, бытовые очерки.

Эту книгу можно приобрести только у автора и у безукоризненно зарекомендовавших себя книготорговцев. К величайшему сожалению, среди них не все принадлежат к этой категории, — есть и такие, которые бессовестным образом пользуются тяжелым и беспомощным положением русских зарубежных писателей. О них я информирую тех лиц и организации, которым следует об этом знать, что предлагаю делать и другим, пострадавшим авторам.

При покупке книг непосредственно у автора, деньги следует посылать только чеками на любой крупный банк (за исключением южноамериканских банков и филиалов). Эти чеки, в заказных письмах и плотных конвертах, посылать по адресу, указанному на шестой странице этой книги.

Este libro terminó de imprimirse en el mes de enero de 1977 en los Talleres Gráficos "Dorrego", Avenida Dorrego 1102, Bs. Aires, Argentina.